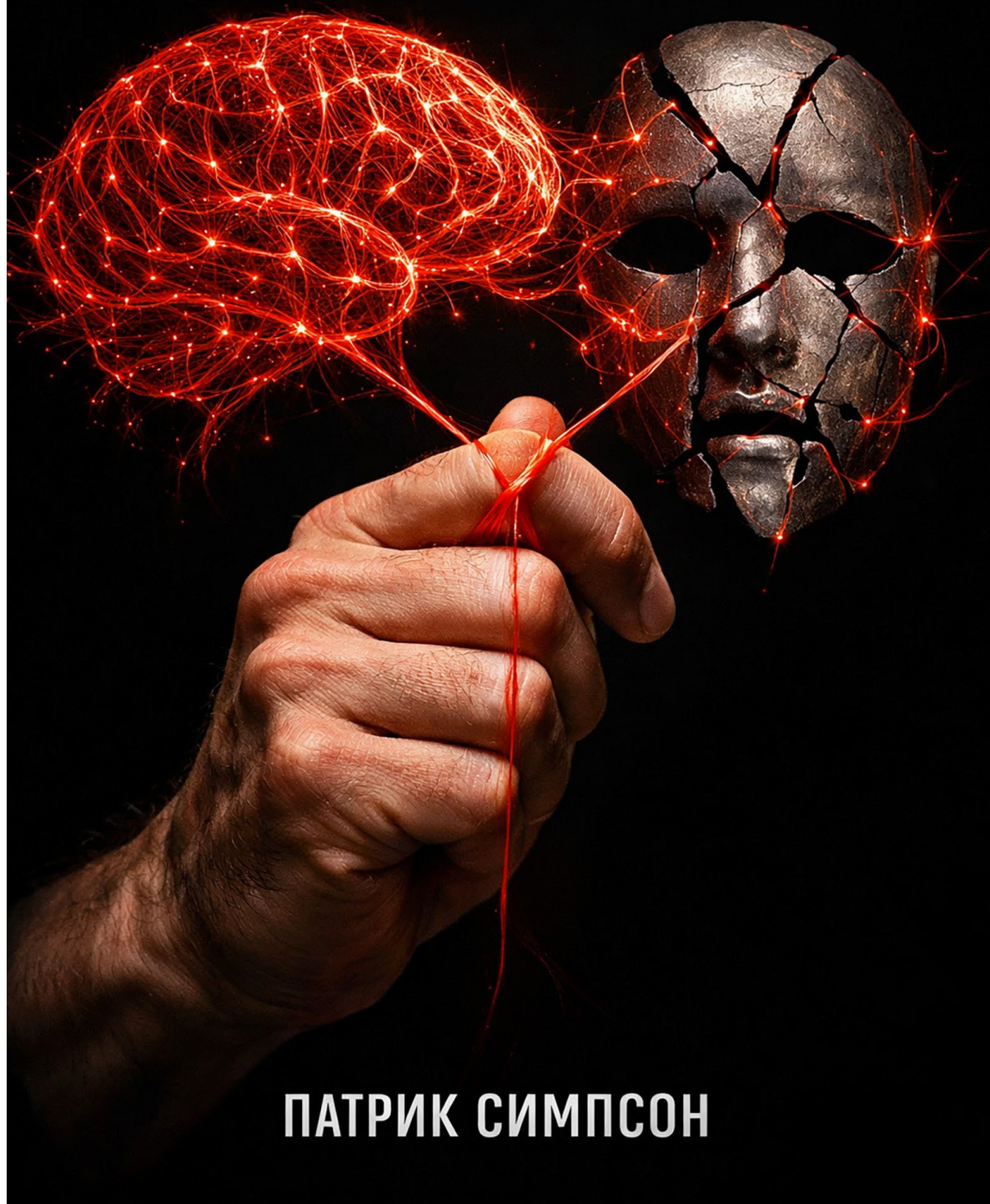


В СЕТЯХ РАЗУМА

Научная одержимость или смертельная зависимость?



ПАТРИК СИМПСОН

В сетях разума

**Научная одержимость или
смертельная зависимость?**

Патрик Симпсон

Данное издание представляет собой документально-аналитическую и правозащитную работу, основанную на открытых источниках, включая опубликованные документы, публичные заявления, сообщения СМИ, научные публикации и иные материалы, доступные на момент подготовки текста. Автор не ставит целью унижение чести, достоинства или деловой репутации каких-либо лиц и организаций.

Оглавление

Вступление

Глава 1. Конструктор миров

Глава 2. Больше, чем наука

Глава 3. Нарушенные границы

Глава 4. Порог разрушения

Глава 5. Суд над маской

Глава 6. После маски

Источники

Вступление

Почему целая книга — об одном человеке? На первый взгляд, вопрос справедливый. Мир полон фигур более громких, более кровавых, более очевидных в своей разрушительности. Но есть особый тип людей, которых нельзя измерять только масштабом известности или количеством официальных должностей. Их влияние устроено иначе. Они не всегда находятся в центре сцены, но именно через них в общество проникают идеи, которые потом начинают жить собственной жизнью. Они меняют языки способ оценки других людей, меняют саму норму допустимого. И тогда последствия их деятельности оказываются гораздо шире, чем кажется поначалу. Именно поэтому эта книга посвящена биографии Александра Дворкина. Перед нами человек, через биографию, психологический склад, стиль мышления и общественную деятельность которого можно увидеть нечто гораздо большее, чем частный случай. Почему именно такие люди получают власть над смыслами и их начинают слушать, почему их слова превращаются в решения, а решения — в человеческие судьбы?

Понять причины и следствия здесь особенно важно, потому что общественно опасные фигуры редко возникают из ниоткуда. Они формируются, учатся, адаптируются, маскируются, ищут форму для своей внутренней энергии. Если не видеть этого процесса, легко ошибиться и принять позднюю роль за подлинную сущность. Легко поверить в образ, который человек выстроил о себе сам. Легко принять маску за лицо. Но если смотреть внимательно, то становится видно, что за публичной функцией всегда стоит более глубокая история.

Эта книга может быть интересна далеко не только тем, кто следит за темой религии, церковной политики или антикультового движения. Наоборот, ее материал гораздо шире. Она будет особенно важна тем, кого интересует психология личности, скрытая динамика характера, механизмы компенсации, нарциссическая перестройка биографии, феномен социальной маски, превращение травмы в амбицию, а внутреннего хаоса — в жажду власти над другими.

Для психологов, психотерапевтов, исследователей девиантного поведения, социологов, историков идей и всех, кому интересен глубокий разбор сложной личности. Она может быть интересна каждому, кто когда-либо задавался вопросами: почему одни люди становятся одержимы чужой жизнью? Почему их так волнует право других верить, думать, выбирать, искать? Почему некоторые личности не могут жить без разделения мира на чистых и опасных, правильных и зараженных, своих и чужих? Почему общество так часто поддается на язык страха? И наконец — как отличить подлинную защиту от замаскированной агрессии? В этом смысле книга «В сетях разума: Научная одержимость или смертельная зависимость?» — это не только исследование одного человека. Это книга о том, как устроена современная манипуляция.

Глава 1. Конструктор миров

Есть люди, чье детство легко укладывается в несколько аккуратных фраз: родился, учился, увлекался, вырос. Их ранние годы будто нарочно созданы для биографов — ровные, понятные, без темных провалов, без внутренних узлов, которые спустя десятилетия приходится развязывать почти на ощупь. Но бывают и другие судьбы. В них детство не проходит — оно замирает внутри взрослого человека, оседает в интонациях, в обидах, в способе смотреть на людей, в странной смеси жажды признания и скрытого презрения к миру. Оно не остается в прошлом, а продолжает жить, переодеваясь то в идею, то в роль, то в маску, то в борьбу.

История Александра Дворкина начинается не с публичной полемики, не с Америки, не с церковных кафедр и не с поздней известности, хотя всё это безусловно присутствует в его биографии. Она начинается в послевоенной Москве, в мире, где внешняя строгость эпохи соседствовала с внутренней неустроенностью семей, а официальная ясность лозунгов плохо скрывала хрупкость частной жизни.

Он родился в середине 1950-х, в городе, где память о страхе еще не успела стать историей, а почти в каждой семье прошлое лежало тяжелым пластом под

повседневностью. Для ребенка это не всегда выражается словами. Ребенок не знает всей биографии своих взрослых, не понимает до конца их травм, разочарований, тайных унижений. Но он прекрасно улавливает главное: где в доме напряжение, где стыд, где недоговоренность, где слабость, которую стараются спрятать за дисциплиной, и где любовь подменяется требованием. Он впитывает все эти невидимые эмоции, ситуации и способы поведения.

Мать Александра Дворкина была образованной женщиной, филологом, человеком интеллектуального труда. Внешне это создавало ту атмосферу, которую принято считать благоприятной для развития: книги, научная среда, разговоры, уважение к культуре, высокая планка. Но образованность семьи не всегда означает душевную безопасность, а культурная среда не гарантирует внутреннего покоя. Тем более, если за фасадом интеллигентности скрываются усталость, напряжение, чувство долга, бытовая изнуренность, неразрешенные семейные узлы или, как принято сейчас говорить, эмоциональное выгорание.

Отец в его жизни присутствовал скорее, как фигура неполноты, чем как опора. Семья распалась, когда мальчик был еще совсем юным, и этот разрыв, как это часто бывает, не исчез, а вошел в структуру характера. Отсутствующий отец — это не пустое место, а постоянно действующая форма нехватки. Она может выражаться по-разному: в неуверенности, в жажде одобрения, в болезненном самолюбии, в скрытой зависти к более уверенным мальчикам, в стремлении когда-нибудь доказать миру, что утрата не сделала тебя слабым. Иногда такой внутренний разлом производит человека мягкого и застенчивого. Иногда — человека, который всю жизнь будет строить из себя того, кто никого и ни в чем не нуждается.

В доме Саши была еще одна постоянная линия напряжения — старшая сестра, тяжелая с ранних лет, требовавшая особого внимания, особого режима, особой домашней гравитации. Такие обстоятельства меняют структуру семьи. В ней всегда кто-то становится центром заботы, а кто-то — свидетелем чужой уязвимости. Для ребенка это значит рано столкнуться с тем, что человеческая слабость — не абстракция, а повседневность. Но это значит и другое: в борьбе за внимание, за место, за признание ребенок может усвоить, что быть просто собой недостаточно — нужно выделиться, придумать себя, предъявить себя миру в каком-то особом виде.

Отцовскую недостапу в значительной степени заменял дед. Фигура деда в детстве часто кажется укрупненной, почти монументальной: он уже не просто родственник, а закон, интонация, голос эпохи, образ власти. Но власть в семье бывает разной. Иногда она защищает, иногда организует. А иногда давит. В воспоминаниях, сопутствующих жизни Дворкина, дед предстает человеком тяжелым, резким, склонным к осуждению, к жестким суждениям, к демонстративному неприятию того, что выпадало из привычного порядка. Для мальчика, который и без того рос тонко устроенным, ранимым, с наклонностью к фантазированию и стыду, такая фигура означала постоянный внешний суд. Когда ребенка долго оценивают, он либо ломается, либо начинает строить внутренний театр, где однажды сам станет судьей.

Московское детство Дворкина проходило в старом дворе, где еще сохранялось то плотное чувство обжитого пространства, какое позже почти исчезнет из городов. Двор был не просто фоном, а маленькой вселенной: со знакомыми лицами, со стариками на лавочках, с вниманием к чужим шагам, с ощущением, что мир обозрим и охраняем. В таких дворах дети играли почти без страха, а взрослые, даже не вмешиваясь постоянно, создавали невидимую сеть наблюдения. Это давало безопасность, но вместе с ней — привычку жить в поле чужого взгляда.

В позднейшем характере Дворкина это ощущение будет звучать неоднократно: он очень рано привык существовать не просто среди людей, а перед людьми, под взглядом, в напряжении между желанием спрятаться и желанием быть замеченным. Он рос мальчиком не из тех, кто естественно встраивается в компанию. Скорее наоборот. По документам и поздним воспоминаниям видно, что он был чувствительным, обидчивым, застенчивым, склонным к фантазиям, и в то же время любил хвастаться, приукрашивать, примерять к себе чужие роли. В детстве это могло выглядеть почти невинно: один ребенок говорит, что его отец инженер, другой — что летчик, а этот придумывает себе почти мифологическое происхождение. То он как будто связан с Грецией, то с иным, более ярким миром, то оказывается не совсем тем, кем его видят на самом деле. Раннее фантазирование о собственной особости — не всегда игра, иногда это способ пережить унижение обычности.

Школа редко бывает снисходительна к таким детям. Детский коллектив чувствует фальшь быстрее взрослых и наказывает за нее безжалостнее. Если ребенок хвастлив, неловок, неуверен и одновременно хочет выделиться, его быстро ставят на место. Так и произошло. Его били, дразнили, не принимали, отталкивали. Не потому, что он был хуже других, а потому что он не попадал в ритм общей детской иерархии. Он не был достаточно сильным, чтобы внушать уважение, и не был достаточно простым, чтобы вызывать симпатию. Он был тем, кого легко сделать объектом насмешки.

Именно здесь, в школьных унижениях, в неудачной социализации, в постоянном чувстве неловкости, начинает оформляться один из важнейших будущих мотивов — жажда компенсации. Ребенок, которого не принимают таким, каков он есть, начинает искать другой способ войти в мир. Если нельзя понравиться естественно, можно стать необычным. Если нельзя победить физически, можно построить внутреннюю исключительность. Если ты не свой — стань особенным. Пусть сначала в мечте.

Он пробовал искать себя в кружках, в занятиях, в культурной среде. Была художественная школа, были попытки спорта, был интерес к истории, чтению, археологии. Это кажется признаком здорового поиска, и в каком-то смысле так и было. Но для таких детей важен не только предмет увлечения, а то, что он дает их внутреннему образу. Кружок — это не просто занятие, это возможность стать кем-то другим: художником, исследователем, знающим, тонким, избранным. Однако и там нужна включенность, терпение, социальная пластичность, а с этим было трудно. Много начиналось, но не все удерживалось. Интерес присутствовал, устойчивость — не всегда.

Отдельный, почти символический эпизод ранних лет — летний лагерь. Для большинства советских детей это была либо радость, либо скука, либо набор банальных воспоминаний. Для Александра — травма. Опыт коллективного существования, жизни «под горн и барабан», оказался для него невыносимым. Он не просто не полюбил этот режим — он его отверг всей внутренней системой. Настолько, что сбежал. Для взрослого это может показаться детской выходкой. Но в детской биографии некоторые побеги значат больше, чем годы прилежного поведения. Побег — это первая форма радикального ответа на переживаемое

насилие среды. Не спор, не жалоба, не приспособление, а разрыв. Мир предлагает тебе форму — ты перелезаешь через забор и уходишь.

С тех пор коллективное принуждение, общий строй, одинаковость, ритуал общего подчинения будут вызывать в нем не просто неприязнь, а почти телесное отторжение. И это важно. Потому что позднее его отношения с любыми системами — учебными, идеологическими, политическими, религиозными, социальными — будут строиться именно через этот ранний узел: одновременно потребность в большой структуре и ненависть к ней, желание принадлежать и желание восстать.

Но детство Дворкина было не только школой унижения и бегства. Оно было еще и школой символов. С очень ранних лет в его внутренний мир входили образы, которые позже окажутся значимее многих реальных событий. Внешне советская семья с атеистическим воспитанием должна была бы производить ребенка рационального и равнодушного к религиозному вопросу. Однако именно в такой среде тема Бога нередко становилась особенно острой. Не как вера, а как запретный предмет, как предмет объяснений, подмен, насмешек и смутной тайны.

Когда маленький Саша спросил у матери, кто такой Бог, он получил типичный для эпохи рационализированный ответ: раньше люди были темны, не знали науки, потому и думали, будто мир создан Богом. Теперь же умные люди знают другое. Ребенок услышал это по-своему и довел до абсурда с детской, но безошибочной логикой: значит, если раньше всё «создавал Бог», то теперь всё «создала партия». Эта сцена может вызвать улыбку, но в ней уже заложено многое. Ребенок обнаруживает, что высшие объяснения могут меняться, а власть над картиной мира принадлежит тому, кто объясняет. Это очень важный опыт. Он учит не столько атеизму, сколько тому, что реальность зависит от интерпретации.

Другой эпизод — почти мистический по форме — связан со школьным уроком, на котором учительница, объясняя церковный праздник, убежденно доказывала детям, что все религиозные представления — пустое суеверие. В качестве наглядного аргумента она указала на ясную погоду за окном. Но к концу урока повалил снег. Для впечатлительного ребенка это было не метеорологией, а столкновением слова и знака, человеческой уверенности и

внезапного внешнего ответа. Он запомнил не просто снег, а момент опровержения. С этих мгновений начинается особое отношение к сакральному: не доверительное, а напряженное, как к силе, которая может вмешаться и унизить самоуверенность человека.

Был и другой, еще более болезненный религиозный опыт — посещение храма в одиночку. На уровне сюжета это почти детская страшилка: мальчик попадает в переполненную церковь, вспоминает школьные рассказы о сектантах, похищающих детей, и в какой-то момент впадает в настоящий ужас, уверенный, что сейчас его уведут вглубь, и он исчезнет навсегда. Но для психики важен не сюжет, а впечатление. Церковь — место притяжения и страха. Религиозное пространство — не только красиво и таинственно, но и опасно, связано с потерей контроля, с исчезновением, с поглощением.

Сакральное приходит к нему не как утешение, а как двойственное чувство — смесь тяги и паники. Эта двойственность очень характерна. В детстве он не просто не верит — он не может спокойно разместить тему Бога внутри себя. С одной стороны, она волнует, манит, вызывает внутренние разговоры, воображаемые обращения, даже скрытое сочувствие ко всякому страданию. С другой — сопряжена с тревогой, с опасением, с чувством уязвимости. Позже это выльется в особую форму отрицания: не холодное безразличие, а активное, эмоционально окрашенное отталкивание.

В нем с ранних лет жила и еще одна сильная линия — воображение как способ самоорганизации. Саша не просто читал книги, а примерял к себе сюжеты. Не просто фантазировал, а строил внутренние миры, в которых мог быть сильнее, заметнее, значительнее, чем в реальности. Так живут многие дети, но у некоторых воображение не служит мостом к жизни, а становится убежищем от нее. Внешне это может выглядеть как любознательность и культурность, но внутри таится механизм компенсации: чем труднее в реальности, тем мощнее внутренний театр. В этом театре есть важная роль — роль наблюдателя.

Он очень рано учится смотреть со стороны: на взрослых, на одноклассников, на собственное унижение, на сцену жизни вообще. Такой взгляд может стать основой для анализа, для писательства, для интеллектуальной работы. Но у него есть и теневая сторона: чем больше человек превращает жизнь в наблюдаемую сцену, тем проще ему отделить себя от

прямого переживания и заменить чувство описанием. Это пригодится и в более поздние годы, когда он будет заново пересобирать собственную биографию, то приближая себя к читателю, то внезапно отодвигая, то высвечивая одну грань, то затемняя другую.

В детстве и ранней юности Дворкина уже начинает складываться один из главных внутренних конфликтов — между стыдом и исключительностью. Он чувствует себя уязвимым, неловким, побеждаемым. И одновременно вынашивает образ собственной личности. Такой конфликт редко проходит бесследно. Иногда он порождает иронию к себе. Иногда — мягкость к другим. Но иногда рождает человека, которому жизненно необходимо однажды перевернуть иерархию: из объекта чужих оценок стать тем, кто сам будет оценивать, определять, называть, выносить вердикт.

В старом московском дворе, в школьных коридорах, в комнате с книгами и тягостной домашней атмосферой, в ранних разговорах о Боге, в страхе церкви, в побеге из лагеря, в детских выдумках о своем происхождении, в обидах и побоях уже угадывается этот будущий вектор. Пока он еще не оформлен в слова, в идеологию, в роль. Пока это только чувствительность, неловкость, самолюбие, боль, уязвимость, фантазия. Но именно из таких смесей и вырастают личности, которые потом умеют казаться цельными.

Есть дети, которых трудность делает глубже. Есть те, кого она делает мягче. Есть и те, кого она делает скрытными строителями внутренней компенсации. Внешне они могут идти путем культуры, книги, мысли, поиска смысла. Но внутри них уже идет другая работа — работа по созданию того «я», которое больше никогда не позволит миру увидеть первоначальную слабость. Не быть отвергнутым, а стать тем, кто сам отвергает; не бояться чужой силы, а научиться оперировать символами силы; не быть мальчиком, которого не принимают, а однажды стать человеком, чье слово заставляет других оправдываться. Впрочем, до этого было еще далеко. Пока он оставался ребенком позднесоветской Москвы — мальчиком с развитым воображением, нервной чувствительностью, болезненным самолюбием и растущим недоверием к любым простым ответам.

Мир для него уже не был единым. Он распадался на внешнее и внутреннее, на официальное и настоящее, на то, что говорят, и то, что переживают, на коллективную форму и тайную личную правду. А там, где мир раскалывается

слишком рано, человек часто начинает жить не в реальности, а в постоянной попытке ее пересобрать. Так постепенно и возникал будущий конструктор миров. Не созидатель в простом смысле и не мечтатель в чистом виде, а ребенок, который слишком рано понял, что мир не дается как дом — его приходится собирать самому. Из обид, из книг, из символов, из страха, из стыда, из фантазии, из непринятости, из жажды значения. Сначала это кажется просто биографией мальчика.

Позже становится видно: это была черновая карта всей последующей жизни. К моменту, когда он войдет в подростковый возраст, внутренний фундамент уже будет заложен. Семейная нехватка, дворовая наблюдательность, школьная травма, религиозное напряжение, побег от принуждения, склонность к компенсации через образ — всё это не исчезнет. Оно только преобразуется. Впереди его ждали новые роли, новые круги, новые соблазны, новая эстетика свободы и новой принадлежности. Но, в сущности, он понесет туда все то же детское наследство: боль непринятости, жажду знака, потребность в собственной легенде и почти болезненную чувствительность к вопросу о власти — над собой, над образом, над смыслом, над другими. Именно поэтому юность в его случае не станет разрывом с детством. Она станет его продолжением — только более громким, более опасным и более соблазнительным.

Глава 2. Больше, чем наука

Подростковый возраст редко приходит как ясная граница. Обычно он вползает в человека постепенно — через стыд перед собственным телом, внезапную чувствительность к чужому взгляду, болезненное внимание к собственной неуместности, почти физическую жажду вырваться из той роли, в которую тебя слишком долго запирали другие. Для Александра Дворкина эта перемена не была спокойным взрослением. Она скорее напоминала смену внутренней кожи.

Ребенок, долго живший под прессом унижения, наблюдения и недопризнанности, начал искать не столько новое окружение, а новый способ

существования в этом мире. В его случае это был поиск не бытовой, а почти символический. Ему уже недостаточно было просто хорошо учиться, читать, казаться «интересным мальчиком» из интеллигентской среды. Подросток такого склада жаждет не успеха, а перевоплощения. Ему нужно не добавить к прежнему «я» несколько привлекательных черт, а отменить прежнего себя целиком. Если детство было временем внутренней неприязни, то юность становится временем изобретения новой личности.

К этому моменту он уже знал, что значит быть чужим в школе, не своим в группе, неловким среди ровесников и одновременно зависимым от их признания. Он уже научился жить в напряжении между фантазией и реальностью, между жадой исключительности и реальным опытом унижения. Теперь ему нужен был мир, в котором исключительность не наказывается, а, наоборот, становится пропуском внутрь. И такой мир появился.

Это произошло в девятом классе, когда в его жизни возник новый одноклассник — фигура, которую позднейшие тексты Дворкина и связанные с ним воспоминания описывают почти как посланца. В советской школе начала семидесятых даже чуть более длинные волосы, иная походка, одежда не по уставу, иная интонация уже могли производить эффект вторжения. Для подростка, остро чувствительного к знакам свободы, такой человек выглядел не просто интересным. Он выглядел как ответ.

Новый знакомый был связан с тем миром, который тогда только начинал мифологизироваться в городском подростковом сознании: рок-музыка, западный звук, длинные волосы, независимый вид, скрытая иерархия уличной неформальности, особая манера молчать и говорить, особая эстетика отчуждения. Подросток, которого прежде били за хвостовство и не принимали за неумелую выдуманность, вдруг столкнулся с настоящей, как ему показалось, подлинной выломанностью из оков системы. Это было не чтение о свободе и не мечта о ней — это была живая модель.

Он начал ходить к новому приятелю домой, слушать записи западных групп, вслушиваться не только в музыку, но и в саму возможность иной организации жизни. Для человека его склада это особенно важно: внешние знаки становятся не аксессуарами, а доказательствами существования параллельной реальности. Пластинка, магнитофон, джинсы, волосы, рок-н-

рольная иерархия имен — все это превращалось в язык посвящения. Не просто музыка, а выход из советской плоскости. Не просто знакомство, а вход в структуру, где можно было не оправдываться за свою странность, а сделать ее капиталом. Но дело было не только в музыке.

Новый круг открывал ему другую социальную механику. Если прежде его особость в школьной среде выглядела жалкой и смешной, то здесь она могла быть переосмыслена. В неформальной среде ценится не правильность, а отличие; не послушание, а знак внутреннего выхода за пределы; не встроенность, а отступление от нормы. Для подростка, давно раненного коллективом, такая среда кажется почти спасительной.

Наконец появляется пространство, где прежние слабости можно перекодировать в достоинства. Это было то, что позднее назовут системой — особым, рыхлым, но ощутимым миром советского хиппизма, его московскими кругами, маршрутами, ритуалами, прозвищами, легендами, запахами, пластинками, разговорами, тусовками, уличными точками и полусекретными иерархиями. Здесь было много стихийного, много позы, много бегства от советского принуждения, но для молодого Дворкина этот мир значил больше, чем просто молодежную субкультуру. Он давал ему новую антропологию. Человек мог быть не примерным учеником, не сыном, не объектом воспитания, а персонажем.

Для кого-то это был всего лишь стиль. Для него — переход через внутреннюю границу. Неудивительно, что вместе с новым кругом изменился и внешний облик. Волосы, одежда, походка, жест, манера присутствия в пространстве — все это стало значить слишком много. Внешность перестала быть оболочкой и превратилась в инструмент самоизобретения. То, за что раньше наказывали, теперь следовало культивировать. Тот самый мальчик, которого раньше можно было игнорировать или высмеивать, начинал понимать, что знак внешней инаковости заставляет людей смотреть. Не важно, какая эмоция скрывалась за этими взглядами — важно было внимание окружающих.

И люди действительно начали смотреть. В советской Москве длинные волосы были не просто модой. Они были вызовом, сигналом, раздражителем, маркером неподчинения. За них могли оскорбить, задержать, потащить в

отделение, высмеять на улице, ткнуть пальцем в транспорте. Но именно это и питало новую самооценку. Негативное внимание тоже внимание. Более того, для подростка с внутренним дефицитом признания оно могло быть почти сладостным. Если на тебя смотрят, значит, ты существуешь. Если ты раздражаешь, значит, ты выделяешься. Если тебя хотят подстричь, значит, твой внешний вид уже власть.

Дворкин позднее вспоминал, что чувствовал себя почти героем в этом противостоянии. Внутренний механизм здесь прозрачен: прежний стыд начинает перерабатываться в нарциссическую компенсацию. Мальчик, которого отвергали как смешного, начинает переживать себя как опасно-заметного. Его бьют — а он читает это как знак собственной исключительности. Его останавливают полицейские — а он видит в этом подтверждение своей особой роли.

Так возникает один из самых стойких подростковых соблазнов — превратить собственную маргинальность в форму величия. В этом месте начинается одна из главных тем всей его дальнейшей жизни: тема маски как орудия. Но здесь важно не понимать маску слишком упрощенно. Речь не о том, что он кого-то намеренно обманывал уже тогда, как взрослый манипулятор. Подросток, особенно травмированный и самолюбивый, сначала сам верит в собственную маску. Он не изображает нового себя — он отчаянно пытается им стать. Длинные волосы, новые друзья, уличная система, рок-мифология, позже — путешествия, наркотический опыт, культ свободы, резкий разрыв с нормальностью — все это было не декором, а строительным материалом для новой личности.

Учителя требовали «прийти в себя», подстричься, одеться как положено. Мать переживала, не принимала новый круг, видела в нем угрозу. Дом, и без того давно бывший местом напряжения, теперь стал ареной открытого конфликта. Когда подросток приносит в традиционный, уязвимый и напряженный дом ярко выраженную субкультурную инаковость, происходит не просто бытовая ссора поколений. Происходит борьба за право определять, кем этот человек будет. И в такой борьбе обычно никто никого не слышит.

Согласно медицинским документам того времени, именно с девятого класса начинаются заметные изменения в его поведении. Раньше отношения с

матерью, при всей сложности, были иными. Теперь появляются конфликты, ложь, ускользание из-под контроля, резкое расширение нового круга, алкоголь. Это важный момент. Не потому, что любой подростковый бунт автоматически ведет к катастрофе, а потому что в его случае бунт не опирался на устойчивую внутреннюю структуру. Он не выходил из зрелого ядра, он строился как компенсация дефицита. А компенсация легко становится зависимой от внешнего подкрепления.

Субкультура же предлагала это подкрепление постоянно. Она давала имена, клички, роли, маленькие уличные ранги, ощущение принадлежности к избранному кругу, внутри которого все официальное обесценивается. Мир школы, семьи, государственной нормы начинал казаться убогим, скучным, фальшивым, почти онтологически ложным. Молодой человек, недавно еще страдавший от своей незаметности, вдруг оказывался в кругу, где можно было не просто быть, а быть кем-то с легендой. Там ценились не отметки и дисциплина, а опыт выхода за предел, способность нарушать, способность выдерживать давление, способность не быть «как все». Важнейшим звеном этого периода стала именно музыка и то, что в неё было заложено. Не как эстетическое удовольствие, а как новая религия слуха. The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep — в позднейшем воспоминании эти названия звучат почти как перечисление священных имен.

Для западного подростка того времени это могло быть делом вкуса. Для советского — это было окном, а иногда и алтарем. Музыка давала не только звук, но и онтологическое алиби для инаковости. Через нее можно было чувствовать себя не случайным странным мальчиком из Москвы, а частью большой и правильной мировой линии. Подобные переходы всегда двойки. С одной стороны, они действительно расширяют человека, дают ему воздух, выводят из тесной клетки среды. С другой — если личность уже надломлена, они могут втянуть ее не в свободу, а в романтизацию саморазрушения. Так и произошло. Очень скоро рядом с музыкой, одеждой и новыми знакомствами появляются другие практики — алкоголь, затем психоактивные вещества, эксперименты с состоянием сознания, интерес не только к свободе как стилю, но и к выходу из реальности как опыту.

Не нужно представлять это как одномоментное падение. Такие вещи не происходят с хлопком двери. Сначала это всегда среда. Компания. Комната, где сидят «свои». Чужой для школы, для семьи, для официоза человек впервые чувствует, что его не оценивают по привычной шкале. Напротив, его уязвимость, странность, готовность идти в нарушение могут оказаться ценными. В такой среде вещества воспринимаются не как дно, а как продолжение свободы. Особенно если вокруг есть люди, умеющие говорить об этом не языком зависимости, а языком посвящения.

По воспоминаниям и сопутствующим источникам становится очевидным, что круг его ранней юности был тесно связан с наркотической и алкогольной культурой. Это важно не ради сенсации, а ради понимания структуры. Для молодого человека его склада химическое изменение сознания было не просто развлечением, а способом снять внутреннюю невыносимость. Когда у тебя много стыда, много внутренней дробности, много неоформленной тревоги, а новый социальный мир требует постоянного подтверждения своей инаковости, интоксикация кажется не падением, а решением. Она облегчает вход в роль. Она убирает тормоза. Она создает иллюзию силы, мягкости, глубины или равнодушия — в зависимости от того, что именно человеку нужно в этот момент.

Именно здесь тема свободы начинает опасно смещаться. Настоящая свобода всегда связана с формой, внутренним усилием, ответственностью, иногда даже с самоограничением. Но подростковая культура бегства часто подменяет свободу другим словом — выходом. Выйти из нормы, выйти из дома, выйти из учебы, выйти из контроля, выйти из трезвости, выйти из идентичности, выйти из биографии. Внешне это выглядит как романтика. Внутренне — как медленное стирание контуров личности. Для Дворкина, который и без того с детства был склонен к внутреннему расщеплению между внешним и внутренним образом, этот соблазн был особенно велик.

Параллельно менялось и его отношение к учебе. Сначала институт, поступление, филологическая среда, казалось бы, логичное продолжение материнского интеллектуального мира. Но очень скоро учебный процесс начинает вызывать у него раздражение. Он пропускает занятия, внутренне презирает учебную рутину, видит в ней не путь знания, а примитивную форму принуждения. Это тоже характерно. Человек, привыкший строить себя через

избранность, почти всегда быстро начинает презирать институциональное знание, если оно требует от него дисциплины, а не только блеска.

Ему не хотелось учиться в системе, а чувствовать себя выше системы. Не осваивать материал, а существовать в образе человека, который уже понял больше, чем преподаватели. В этом много подросткового максимализма, но в его случае это сочеталось с растущей социальной дезадаптацией. Он все чаще живет в логике противопоставления: они — скучные, ложные, ограниченные; мы — живые, настоящие, свободные. Чем глубже человек входит в такую схему, тем труднее ему не только встроиться в общество, но и признать за ним хоть какую-то реальность.

А между тем общество отвечало. Полиция, задержания, внимание со стороны властей, приводы, осмотры, принудительные унижения, принуждение к стрижке, давление, бумажная фиксация «неблагонадежности» — все это становилось частью опыта. Для обычного юноши это могло бы стать тормозом. Для него же нередко становилось питанием образа. Да, ему было страшно. Да, он реагировал болезненно. Да, в воспоминаниях о контактах с властью много не только бравады, но и подлинной паники. Но в социальном воображении всё это работало на один сюжет: я существую в конфликте с системой, а значит, я значителен.

Здесь важна тонкость. Это был не цельный героизм. Скорее смесь страха, гордости, обиды, позы и реального опьянения собственной ролью. Такой психический состав особенно взрывоопасен. Потому что человек не просто страдает — он начинает любить собственное страдание как доказательство собственного отличия. Он не просто терпит давление — он учится читать его как подтверждение своей исключительности. Так формируется психология избранного изгнанника, которая в зрелой жизни способна обернуться очень разными ролями: борца, мученика, судьи, разоблачителя, хранителя истины.

Внутренний моральный каркас в это время тоже заметно перестраивается. Позднее Дворкин сам вспоминал, что в тот период отрицал Бога и выводил из этого почти полную дозволенность. Если Бога нет — кто может запретить? Если объективного нравственного закона нет — откуда берется мера? Эта формула не была у него выстроенной философией. Скорее подростковой, но очень серьезно усвоенной интеллектуальной лицензией на внутреннюю распущенность.

При этом он удерживал лишь одну особую категорию — запрет на предательство, но понимал ее выборочно, почти исключительно как запрет доносить на своих. То есть не универсальная мораль, а код группы. Это существенная вещь. Когда человек заменяет общую мораль групповой лояльностью, его совесть перестает быть вертикальной и становится клановой. Хорошо не то, что хорошо вообще, а то, что укрепляет свой круг и не разрушает свой образ в глазах своих. Все остальное начинает оправдываться. Особенно если собственная жизнь уже воспринимается как особый случай, как вынужденное сопротивление враждебному миру.

На этом фоне особенно заметно, как менялся его стиль внутреннего самоописания. В нем нарастали нарциссические тона — не в бытовом, а в структурном смысле. Он все чаще воспринимал себя не просто как участника событий, а как фигуру, вокруг которой они организуются. Даже негативная реакция мира воспринималась как зеркало его значения. Взгляды прохожих, насмешки, враждебность, задержания, удары — всё могло становиться материалом для нарратива о собственной особости. Это не было еще зрелым сознательным мифотворчеством, но уже было его черновиком.

Важным элементом этого периода стала и новая карта города. Москва перестала быть только местом детства, двора, школы и материнского мира. Она сделалась пространством скитания, маршрута, точек, встреч, уличных узлов. Когда подросток не находит дома ни покоя, ни принятия, город часто становится для него заменой идентичности. Ходить, перемещаться, знать места, встречать своих, исчезать, появляться — всё это становится формой жизни. Не случайно позднейшие воспоминания о молодости у него так насыщены улицами, площадями, переходами, случайными и неслучайными встречами. Город дает ему то, чего не дала семья: право на множественность ролей и возможность быть никем окончательно не закрепленным.

Отсюда и следующий логический шаг — тяга к дороге. Пока еще не большой эмигрантской дороге, а внутренней, советской, полубродяжьей, автостопной, неустроенной. Человек с такой психической организацией почти неизбежно ищет горизонтального выхода, если не находит вертикального. Он не может пока обрести устойчивый центр внутри, значит, будет двигаться снаружи. Дорога, как и субкультура, дает ему сразу несколько иллюзий: свободы,

анонимности, самообновления и бесконечного отсроченного решения. Пока ты в пути, тебя нельзя окончательно определить.

Но к этому времени уже ясно, что перед нами не просто юношеский бунт в красивой оболочке. Внешне все еще можно описать как типичную историю позднесоветского нонконформиста: музыка, длинные волосы, конфликт с институтом, неприятие официоза, поиск свободы, новые друзья, рискованные опыты, уличная биография. И все же за этим стояло нечто большее. В его случае протест не был только культурным. Он был экзистенциальным. Мир не просто раздражал его. Мир как будто с самого начала был для него неправильно устроен: семья — неправильно, школа — неправильно, коллектив — неправильно, власть — неправильно, мораль — подозрительна, религиозное напряженно, знание институционально лживо. В такой картине человеку остается одно — назначить собственное «я» центром оценки.

Именно это и происходило. Медленно, неровно, через сбои, истерики, конфликты, зависимости, уличные ритуалы, переодевание образа, но происходило неуклонно. Из чувствительного и униженного мальчика вырастал молодой человек, для которого различие между внутренней правдой и внешним порядком становилось все радикальнее. Он еще не знал, куда эта радикальность приведет. Но уже ясно чувствовал, что обычной жизнью жить не хочет и, возможно, не может. Потому вторая половина его юности — это уже не рассказ о взрослении, а рассказ о постепенной перестройке всех границ. Между дозволенным и запрещенным, между реальностью и ролью, между свободой и самоуничтожением, между принадлежностью и бегством.

Он искал круг, где его примут. Нашел среду, где можно было стать заметным. Искал форму свободы. Нашел и ее, но вместе с ней — соблазн распада. Искал себя. И все больше превращал себя в проект. Так завершался первый большой переход: от детской ранимости к юношеской легенде. Но любая легенда требует подпитки. Одной только внешности, музыки и городской мифологии уже было недостаточно. Нужны были новые подтверждения собственной исключительности, новые опыты, новые преодоления, новые нарушения, новые круги.

Впереди его ждали уже не только символы свободы, но и практики разрушения — сначала как образ жизни, потом как способ пережить

внутреннюю пустоту. И именно тогда разрыв между видимым и скрытым станет уже не чертой характера, а способом существования. Если первая юность научила его быть не таким, как все, то следующая научит его жить сразу в нескольких регистрах. Снаружи — один человек. Внутри — другой. Для окружающих — роль. Для себя — отдельная, все более изолированная реальность. И чем сильнее будет расширяться этот внутренний разлом, тем труднее станет понять, где в нем кончается поиск свободы и начинается поиск власти над собственной жизнью, над образом, над смыслом — а затем и над другими.

Глава 3. Нарушенные границы

К началу этого этапа его жизни внешняя биография уже могла обмануть невнимательного наблюдателя. Со стороны все еще виделся молодой человек позднесоветской эпохи, прошедший через типичный набор конфликтов своего поколения: неприятие официоза, увлечение западной музыкой, участие в неформальной среде, болезненный разрыв с учебной нормой, поиски свободы, тоска по иной жизни. Но за этой, на первый взгляд, узнаваемой траекторией скрывалось нечто более тревожное. Если раньше внутренний разлом лишь намечался — между застенчивым мальчиком и придуманной фигурой исключительного, между жаждой принятия и презрением к обществу, — то теперь он начал приобретать уже не только психологическую, но и поведенческую форму. Именно здесь особенно отчетливо становится видна опасная закономерность: внутренняя нестабильность начинает искать не только идеологическое или эстетическое оправдание, но и химическую поддержку.

То, что в предыдущий период еще могло выглядеть как атмосферный фон субкультуры, теперь постепенно становится частью самого способа жить. Не просто компания, где «так принято», не просто эпизодические опыты, не просто подростковое желание нарушить запрет. Возникает другая логика — использовать вещества как средство регуляции собственного внутреннего хаоса. К этому времени в биографии Александра уже можно зафиксировать

переломные годы. В материалах, связанных с поздней реконструкцией его жизни, особое значение отводится периоду девятого класса, то есть рубежу конца 1960-х — начала 1970-х, когда новый одноклассник, известный в воспоминаниях как Толя Вайнберг или Толя-Виннету (это имя фигурирует в автобиографической книге «Моя Америка»), вводит его в мир хипповой среды и, шире, иной социальной реальности. Этот эпизод важен не только потому, что оттуда начинается круг новых знакомств. Важнее другое: именно тогда подростковая травма неприязни впервые получает среду, где риск, неустойчивость и девиация не осуждаются, а романтизируются.

Внешне это выглядело как освобождение. Внутренне — как снятие ограничений. Если в детстве Дворкин искал формы символической компенсации — книги, фантазии, роль, необычное самописание, — то теперь компенсация становится телесной и химической. Алкоголь, таблетки, ингалянты, наркотические вещества входят в окружение не как маргинальный случай, а как часть культурного кода. В материалах 1979 года, в интервью, записанном уже после эмиграции в США, он говорит о московской хипповой среде с интонацией человека, для которого наркотический быт давно стал не сенсацией, а изученной повседневностью. Из этого разговора видно, что он знал не только общий фон, но и конкретные каналы, виды веществ, способы их получения, практики употребления и тюремно-психиатрическую цену такого образа жизни.

И здесь возникает одно из первых серьезных нарушений границы: между участником среды и ее наблюдателем. Дворкин в разных текстах часто занимает выгодную позицию двойного свидетельства. С одной стороны, он будто бы внутри круга: знает людей, практики, маршруты, логику компаний, типы поведения. С другой — как будто чуть отступает в сторону и смотрит аналитически. Такая позиция создает ощущение дистанции, иногда даже моральной. Но чем подробнее читаешь его ранние и поздние свидетельства, тем явственнее становится: дистанция была далеко не всегда реальной. Очень многое он знал не как исследователь, а как человек, включенный в опыт.

Это особенно видно в материалах, восходящих к книге Аркадия Ровнера «Калалацы». Этот текст, впервые опубликованный в 1980 году, а затем вышедший в Москве в 1990-м, опирался на устные рассказы молодого

Александра Дворкина; в книге он выведен под именем Костя Лопухов. Именно здесь встречается подробное, почти техническое описание среды, в которой психоактивные вещества употребляются не стихийно, а иерархически, стадийно, как будто речь идет о целой школе посвящения. Сначала одни препараты, потом другие; затем переход к более «серьезным» веществам; потом комбинации; потом знание того, что с чем сочетается, что дает «тупость», что — «чистый» эффект, что опасно, а что «красиво». Это язык уже не внешнего свидетеля, а человека, давно погруженного в тему.

Нарушение границ здесь двойное. Во-первых, стирается граница между телом и сознанием: химическое вмешательство перестает восприниматься как эксцесс и становится нормой внутренней настройки. Во-вторых, исчезает граница между жизнью и экспериментом: собственная психика начинает восприниматься как пространство проб, проверок, усилений, обрывов, отключений.

Особенно важно, что вещества в этой среде употребляются не только ради эйфории. Они работают как ответ на несколько разных дефицитов сразу. Алкоголь — чтобы погасить тревогу, снять стыд, раскрепоститься в компании, размягчить внутренний надзор. Таблетки — чтобы не чувствовать, провалиться, замедлиться или, наоборот, вырваться из вязкой реальности. Сильные вещества — чтобы перейти границу обыденного состояния, испытать власть над телом, временем, страхом. Для личности с нарастающим внутренним разладом это почти идеальная ловушка. Химическая среда обещает не удовольствие, а временную пересборку личности.

К началу 1970-х это начинает сопровождаться все более заметными поведенческими сдвигами. В медицинских документах, относящихся к 1973–1977 годам, отражено наблюдение психоневрологического диспансера: конфликты с матерью, снижение интереса к учебе, апатия, тревога, уходы из дома, истерические срывы, демонстративное самоповреждение, употребление алкоголя и лекарственных средств не по назначению.

В одном из фрагментов отмечено, что он сам сообщал матери о приеме седуксена ради «приятного отключения». Это важная деталь, потому что здесь зависимость проявляется уже не как средовой фон, а как личный способ обращаться с психикой — выключать, оглушать, смещать состояние, когда

реальность становится невыносимой. Надо сказать прямо: психоактивное поведение в его случае не было отделимо от структуры личности. Это не история о хорошем молодом человеке, которого просто «испортило окружение». Наоборот, окружение оказалось привлекательным именно потому, что оно совпало с его внутренней потребностью. Ранимая, самолюбивая, расщепленная личность, не справляющаяся со стыдом, злостью и ощущением неполноценности, почти неизбежно тянется к среде, где можно легально разрушать внутренние тормоза.

В середине 1970-х эта тенденция усугубляется. После поступления в Московский государственный педагогический институт он довольно быстро перестает удерживаться в учебной рамке. Пары пропускаются, преподаватели вызывают раздражение, студенческая среда не становится местом нормальной интеграции. По материалам, позднее цитируемым в статье о ретроспективном анализе, его основные социальные связи все отчетливее концентрируются не вокруг учебы, а вокруг тех, кто разделяет тот же образ жизни: алкоголь, вещества, тусовки, уход от нормативного существования. Институт для него — уже не площадка будущего, а всего лишь еще одна структура, которую нужно пережить, обмануть или использовать.

На этом фоне особенно тревожно выглядит расширение его осведомленности о фармакологии веществ. В текстах, связанных с его юностью, встречаются не просто упоминания об употреблении, а подробные сведения о свойствах препаратов, их комбинациях, побочных эффектах, рисках, дозировочной логике, переходах от одной группы веществ к другой. В «Калалацы» речь идет о целой внутренней лестнице среды: димедрол, седуксен, эуноктин, ноксирон, барбитураты, циклодол, кодеин, затем более тяжелые опиатные формы и различные комбинации. Даже если допустить художественное преувеличение текста, сама плотность этого знания говорит о включенности в субкультуру, где подобная информация циркулировала на уровне почти ремесленного навыка.

Позднее, уже в интервью 1979 года, эта картина подтверждается иначе — разговором о том, что московские хиппи в конце концов оказались тесно связаны с тяжелой наркотической зависимостью, психиатрическими больницами и деградацией. Он говорит об этом как человек, знающий явление

изнутри. В одном месте он фактически признает, что в СССР «постоянно был под кайфом», а в Америке — уже нет, потому что там меньше свободного времени. Эта фраза коротка, но разрушительна по смыслу. Она переводит разговор из области слухов в область прямого признания опыта. Именно здесь возникает следующее нарушение границы: между бунтом и зависимостью. Подростковый и юношеский протест любит прикрывать зависимость высокими словами. Свобода. Выход из лжи. Настоящая жизнь. Экзистенциальная честность. Но на определенном этапе эта риторика перестает быть даже самообманом и становится ширмой для чистой потребности в дозе, в отключении, в изменении состояния. Сам Дворкин в поздних воспоминаниях признает, что наркотики разъедали среду, разрушали дружбы, подталкивали к воровству, сделкам, предательству и приводили к смертям от передозировок. Это уже не романтика свободы, а классическая картина токсической среды.

И все же для его личной истории важно не только то, что среда была токсичной, а то, как именно она легла на его характер. В документах и воспоминаниях все чаще проступают странности поведения, которые нельзя свести лишь к молодежному эпатажу. Речь идет о сочетании эмоциональной лабильности, демонстративных жестов, резких переходов от апатии к возбуждению, тревожно-депрессивных состояний, самоповреждения, лживости, ухода от прямого контакта и одновременно тяги к эффектному самопредъявлению. В диспансерной картине это выражено медицински сухо: сниженный фон настроения, трудность сосредоточения, раздражение по отношению к ровесникам, одиночество, слабость, склонность к аффективным срывам. Но за этим сухим языком угадывается человек, чья психика все хуже выдерживает собственную внутреннюю нагрузку. Это и есть первые девиации, которые особенно важны для нашей книги. Не потому, что они делают из юноши преступника по факту, а потому что показывают: границы нормы он начинает переступать не эпизодически, а системно. Сначала во внешнем облике. Затем в социальной роли. Затем в отношении к учебе и труду. Затем в употреблении веществ. Затем в способах обращения с собственным телом и психикой. Девиация перестает быть событием и становится стилем существования.

Сюда же относится и его специфическое отношение к психиатрическому пространству. Из интервью 1979 года ясно, что он как минимум однажды пошел

в психиатрическую систему сознательно, чтобы избежать армии, а затем попадал туда и в других обстоятельствах. В этом сюжете настораживает не только сама госпитализация, но и способ ее внутреннего использования. Для многих людей психиатрическая клиника — предельный знак слабости, страдания, распада. Для него она постепенно становится еще и элементом тактики, способом выпадения из обычного порядка, своего рода серой зоной между наказанием и освобождением. Когда человек начинает инструментально обращаться с собственным психическим неблагополучием, это уже не просто болезнь — это разрушение границы между страданием и стратегией.

Особенно характерен эпизод с порезом руки после конфликта с милицией. По его более позднему рассказу, когда его избивали, у него при себе было лезвие, и он вскрыл себе запястье. В таком жесте могут соединяться разные мотивы: паника, отчаяние, демонстративность, попытка вырваться из ситуации, привычка к аффективной самодеструкции. Но в любом случае это свидетельствует о крайне опасной структуре реагирования. Вместо того чтобы выдерживать давление или искать выход в языке, он идет через тело, через кровь, через резкий жест. Это не просто невроз. Это ранний признак сломанной системы внутренних ограничителей.

Отдельную тревогу вызывает то, как нарастает разрыв между социальным лицом и скрытым образом жизни. Наружу он может выглядеть как умный, начитанный, яркий, неудобный молодой человек, почти интеллектуальный нонконформист. Внутри же его реальность все теснее связана с алкоголем, препаратами, психодиспансером, дезадаптацией, ложью и средой, в которой нормализуются крайние формы поведения. Так начинает складываться двойная биография — публично романтическая, внутренне все более разрушенная. Эту двойственность особенно хорошо чувствуют люди, наблюдающие человека не по документам, а вживую: коллеги, знакомые, более молодые собеседники, а позднее — студенты. В материалах, на которых строится эта книга, есть указание, что в последующие годы некоторые окружающие замечали в нем странную смесь внешней собранности и внутренней напряженности, избирательность контактов, резкую перемену состояний, склонность к контролю и специфическую закрытость при кажущейся открытости. Эти свидетельства фиксируются уже как элементы ретроспективного анализа, но их зерно уходит

именно сюда, в раннюю молодость. Человек учится держать внешний рисунок, не устрояя внутреннего распада. Полисубстантная зависимость — это не просто употребление «многого сразу». Это особый тип отношения к себе, когда психика перестает различать средства и начинает поглощать все, что обещает быстрый эффект. Алкоголь, транквилизаторы, снотворные, коррекционные препараты, ингалянты, опиаты — каждое из этих веществ работает по-разному, но вместе они создают одну и ту же антропологию: человек больше не живет в своем естественном состоянии, он постоянно перенастраивает себя химически. А тот, кто теряет базовую верность собственному состоянию, легко теряет и другие формы границ.

Пожалуй, именно это и есть центральная тема данной главы. Нарушенные границы — не только про вещества. Они про постепенную привычку жить так, как будто никакая внутренняя линия не обязательна. Можно быть одним дома, другим на улице, третьим в компании, четвертым в диспансере, пятым в автобиографической памяти. Можно менять степень сознания. Можно менять степень ответственности. Можно менять форму правды. Все это поначалу кажется свободой. Но со временем становится образом существования, в котором реальность больше не воспринимается как твердая. И тут особенно важно вернуться к его раннему интеллектуальному самочувствию. Он не был бездумным человеком, не был примитивным наркоманом улицы, не был просто спивающимся юнцом. Напротив, он много наблюдал, запоминал, формулировал, собирал впечатления, создавал вокруг себя нарратив. Именно поэтому его зависимость особенно значима. Интеллект в таком случае не противостоит разрушению, а обслуживает его, дает ему язык, оправдание, стиль, историческую рамку, почти философскую подсветку. Вещество перестает быть просто веществом — оно становится частью легенды о человеке, который живет «по ту сторону» обычной жизни.

Но легенда всегда берет плату. Уже в середине 1970-х он все отчетливее оказывается в зоне институционального краха: проблемы с учебой, конфликт с системой образования, наблюдение у психиатров, нестабильная работа, уходы в маргинальный образ жизни. Его начинают определять не достижения, а нарушения. Не результаты, а срывы. Не вклад, а тревожный след, который он оставляет в разных структурах. И чем больше он уходит в этот режим, тем

сильнее нуждается в следующей дозе подтверждения собственной исключительности.

Впереди будет новый этап — работа в медицинской среде, новые формы доступа к телесной уязвимости другого человека, новые пространства наблюдения за страданием и смертью, новая сборка собственной роли. Но чтобы понять, почему это окажется для него столь значимым, нужно было увидеть нынешний этап целиком. Здесь, в нарушенных границах молодой жизни, уже заложено почти все: зависимость как регуляция хаоса, девиация как стиль, внешняя роль как прикрытие, внутренний разлад как постоянный фон, а главное — постепенная утрата чувства меры. Потому что мера — это всегда внутренняя граница. А когда границы размываются слишком рано и слишком последовательно, человек начинает жить так, будто любой следующий переход допустим. И, возможно, именно с этого момента его история перестает быть просто биографией трудного молодого человека и начинает превращаться в историю гораздо более темную — историю человека, для которого выход за черту перестал быть исключением и сделался способом существования.

Глава 4. Порог разрушения

Недостаточно говорить о трудной юности, о московской неформальной среде, о протесте против советской серости, о рок-музыке, длинных волосах, бегстве от коллективной нормы и химических способах не чувствовать внутреннего надлома. Все это по-прежнему оставалось частью картины, но уже не исчерпывало ее. Потому что наступал этап, когда разрушение перестает быть фоном и начинает становиться методом. Именно это делает середину и вторую половину 1970-х годов особенно важными для понимания дальнейшей судьбы Александра Дворкина. Речь пойдет не только об инцидентах и конфликтах, которых в его жизни к тому времени было уже достаточно, но и о той внутренней технике, благодаря которой хаотическая, уязвимая и местами саморазрушительная биография начинает превращаться в управляемый рассказ. Рассказ, где многое признается, но не все называется; где драматизм

остается, но вина размывается; где боль выставляется напоказ, но причинно-следственные связи прячутся в тень. В каком-то смысле это уже начало зрелой стратегии.

После института и на фоне психоневрологического наблюдения его жизнь входит в режим нервной неустойчивости, где каждое столкновение с внешним миром становится одновременно и угрозой, и материалом для внутреннего мифа. Александра исключают из учебного заведения в 1975 году, и позднее он сам будет вспоминать это как идеологический конфликт, как свидетельство несовместимости его убеждений с тем, что ожидалось от будущего советского преподавателя. Формально это звучит как история о нонконформисте, вытолкнутом системой. И в каком-то смысле так оно и было. Но за этим объяснением остается другой слой — к тому моменту он уже систематически выпадал из учебной и социальной структуры: пропускал занятия, конфликтовал с преподавателями, тяготел к маргинальной среде, был связан с веществами, состоял под наблюдением.

Важный признак порога разрушения — когда человек больше не может удерживать жизненную форму, но продолжает называть это только внешним конфликтом с миром. Именно это постепенно проступает в его биографии. Он все чаще описывает давление среды, но все реже задерживается на собственной роли в эскалации. Он охотно говорит о преследовании, но менее охотно — о том, как именно шаг за шагом разрушал собственную устойчивость. Он подчеркивает свою несводимость к советскому шаблону, но обходит тот факт, что его жизнь становилась не просто независимой, а все менее управляемой. Это не значит, что внешнее давление было выдуманно. Оно было реальным. Его задерживали. Его проверяли. Его стригли насильно. Им интересовались органы. Он жил в эпоху, когда даже внешняя несхожесть могла быть прочитана как угроза. Но правда о внешнем насилии не отменяет правды о внутреннем распаде. И в случае с Дворкиным эти два процесса уже так тесно переплелись, что одно стало подпитывать другое. Давление системы усиливало его позу исключенности. А его все более деструктивное поведение, в свою очередь, провоцировало новые столкновения.

Особенно показателен здесь эпизод с милицейским насилием и порезом запястья, о котором он рассказывает в интервью 1979 года. По его словам, его

задержали за то, что он не работал, начали бить, и тогда он лезвием порезал себе руку. Впоследствии этот эпизод был встроен в биографию как доказательство жестокости советской действительности. И он действительно таков. Напомню, на более глубоком уровне мы видим еще нечто: в момент крайнего давления человек не пытается выйти через переговоры, не выдерживает ситуацию, а переводит конфликт в телесную драму крови и самоповреждения. Такой жест нельзя понимать упрощенно. Это не только отчаяние. Это и демонстративность, и паническое самоспасение, и форма перехвата контроля над сценой. Когда он вскрывает себе запястье, он радикально меняет конфигурацию происходящего. Насилие остается, но теперь центр сцены — его тело, его кровь, его жест, его решение. Даже в момент уязвимости он инстинктивно пытается снова стать режиссером ситуации. Это очень характерный признак. Вообще к этому времени в его поведении все заметнее одно свойство: он не переносит положения пассивного объекта слишком долго. Любое унижение либо перерабатывается в нарциссическую легенду, либо взрывается истерическим, демонстративным, резким действием.

В медицинских записях этого периода есть эпизоды, когда на фоне семейных конфликтов он кричит, плачет, падает на пол, принимает лекарства, режет руку, звонит знакомой, прощается, а затем может сесть обедать. Если читать только фабулу, это выглядит как хаос. Но психологически здесь видно другое: разрушение уже стало способом сообщения о себе, способом возвращать внимание, задавать тон, создавать вокруг своего состояния особую драматическую гравитацию, быть в центре ситуации. Дом в этот период окончательно перестает быть местом восстановления. Напряжение с матерью растет. Ее неодобрение его друзей, образа жизни, привычек, внешности, зависимостей усиливает разрыв, но не останавливает его. Он уже слишком далеко ушел в ту версию себя, где любое требование вернуться воспринимается как покушение на самость. При этом именно у матери, у семьи, у домашнего пространства он все еще берет ресурсы — деньги, крышу, терпение, эмоциональную подушку. Это классическое противоречие зависимой и нарциссически уязвимой личности: нуждаться в тех, кого внутренне обвиняешь в собственном несчастье. Он уже умеет мыслить против мира, но еще не умеет жить без мира.

Все большее место в его жизни занимает психиатрическая система. Здесь снова важна двойственность. С одной стороны, реальные симптомы: перепады настроения, тревога, депрессивные состояния, усталость, эмоциональная нестабильность, аффективные срывы, жалобы на пустоту, тяжесть, бессилие, трудность сосредоточения, раздражение по отношению к людям и одиночество. Позднее в материалах фигурируют диагнозы, характерные для тогдашнего советского психиатрического языка: циклотимия, патологическое развитие личности, психофизический инфантилизм. Современный читатель должен понимать, что эти формулировки принадлежат эпохе и своей системе описания, но они все равно указывают на главное: внутреннее состояние уже тогда воспринималось врачами как устойчиво неблагополучное.

С другой стороны, Дворкин и сам начинает использовать этот неблагополучный статус. Из интервью следует, что одно из ранних обращений в психиатрическую структуру было сознательной попыткой избежать армии. То есть болезнь и уязвимость становятся не только фактом, но и инструментом. Это невероятно важный сдвиг. Потому что с этого момента граница между подлинным страданием и стратегическим использованием страдания начинает стираться. А человек, который привыкает жить в этой размытой зоне, приобретает особую гибкость в обращении с правдой. Он может быть внешне искренним — и одновременно расчетливым. Может страдать — и тут же использовать страдание как аргумент. Может говорить правду — но так, чтобы она работала только на его версию себя. В этом смысле утаивание фактов не всегда означает прямую ложь; иногда это искусство расставить акценты так, чтобы правда не вывела к главному. Именно так он все чаще действует в собственном рассказе о себе.

В позднейших книгах, особенно в «Моей Америке», заметно, как ранняя жизнь перерабатывается в повествование о духовном поиске, сопротивлении лжи, стремлении к свободе, поиске смысла, медленном движении к Богу. Все это в книге действительно есть. И в этом нет оснований сомневаться. Но если держать рядом интервью 1979 года, медицинские записи, ранние воспоминания, легшие в основу «Калалацы», возникает ощущение, что одна и та же жизнь рассказывается с разной степенью жесткости к себе. В более раннем материале больше резкости, больше телесной грязи, больше наркопрактик, больше

внутренней неустроенности. В более позднем — больше композиции, смыслов, духовной перспективы, оправдывающего порядка. Это естественно для любого мемуариста. Человек всегда редактирует прошлое. Но в его случае эта редакция особенно показательна, потому что она становится частью биографического метода. Он не столько вспоминает себя, сколько выстраивает того, кем это прошлое должно было привести его стать. Именно поэтому конфликты и инциденты в его повествовании часто остаются, а вот самые тяжелые причинные связи смещаются на периферию. Он может признать зависимую среду, признать ужас тех лет, признать собственную потерянность — но при этом все равно незаметно ставит себя в центр как фигуру более осмысленную, более наблюдающую, более духовно потенциальную, чем окружающие.

Это и есть защита секретов высшего уровня — не молчание, а контролируемое признание. В середине 1970-х одной из форм его существования становится в буквальном смысле бродяжничество. В советской системе это имело особый статус: неустроенный, уклоняющийся от работы, шатающийся человек воспринимался не как романтический странник, а как социально подозрительный элемент. В поздней книге Александр называет часть этих перемещений автостопом, поездками, дорогой «опытом». В интервью и в более ранних пластах биографии проступает и другое слово — фактическое бездомное скольжение по жизни, существование на границе между свободой и паразитарностью. Он то работает, то уходит, то исчезает, то возвращается, то живет в Москве, то едет в другие города, то держится на знакомых, то на уличной сметке. Именно в этой фазе особенно заметно выгорание — не то современное офисное выгорание, о котором любят говорить в психологических блогах, а экзистенциальное выгорание человека, который исчерпал протест как источник энергии, но не нашел новой опоры. Уже недостаточно быть против. Уже не хватает одной только внешней несхожести. Уже и вещества перестают открывать, а чаще всего только истощают. Уже субкультурный круг не выглядит чистым братством. Он распадается на зависимых, на тех, кто ищет дозу, на тех, кто предает, крадет, исчезает, ломается, попадает в психушки, умирает.

Поздний Дворкин об этом скажет почти напрямую: наркотики отравили среду, разрушили дружбы, сделали каждого озабоченным только собственной следующей порцией забвения. Это признание особенно важно. Потому что за

ним стоит не только социальный вывод, но и скрытая исповедь: идеализированная среда свободы к концу пути оказалась средой распада. В таком состоянии человек либо ищет новую вертикаль, либо начинает тонуть быстрее. Но переход к вертикали почти никогда не происходит напрямую. Перед ним обычно лежит зона крайнего внутреннего истощения, когда прежняя биография уже не работает, а новая еще не найдена. Именно в этой зоне и возникает острое желание не дать правде всплыть наружу — потому что наружу может всплыть не просто отдельный стыдный факт, а целая картина несостоявшейся жизни.

Можно предположить, что именно в этот период он особенно интенсивно учится внутренней самозащите. Не в смысле конспирации, а в смысле психологической техники выживания. Нужно удерживать образ себя, иначе все рассыплется. Нужно объяснять себе и другим, что за хаосом есть логика. Нужно сделать так, чтобы каждая неудача оказывалась частью пути, а не просто неудачей. Нужно превратить свое неблагополучие в пролог, а не в приговор. Так из проживаемой катастрофы начинает строиться будущая исповедальная драматургия. Но, прежде чем она сложится окончательно, в жизни появляется еще одна зона особой тревоги — работа в медицинской среде. Уже после ухода из института Дворкин какое-то время связан с больницами: сначала как рентгенолаборант, затем как санитар. Формально это можно прочесть как попытку зацепиться за труд, найти дело, вернуться в социальную ткань. И отчасти так оно и было. Но психологически значение этого эпизода гораздо глубже. Больница — это пространство, где человек постоянно сталкивается с телесной уязвимостью, страданием, болью, пределом, страхом смерти, беспомощностью других. Для сломанной, зависимой, тревожной, но одновременно самолюбивой личности такое пространство может быть одновременно и отталкивающим, и притягательным.

Вспоминая позднее эту работу, он подчеркивает, что старался облегчать участь больных, делал простые вещи по совести, видел человеческое страдание близко, переживал смерти пациентов. Это, несомненно, часть правды. Но и здесь чувствуется уже знакомый стиль: рассказ организован так, чтобы на передний план вышел его гуманизм, его восприимчивость, его роль человека, который оказался рядом с пределом жизни и отнесся к нему равнодушно. И это опять-

таки очень характерно. Даже самые темные, истощенные и сомнительные зоны собственной биографии он инстинктивно стремится пересобрать так, чтобы в них остался центр морального самооправдания. Здесь мы не имеем права приписывать ему то, что не установлено фактами. Но имеем право заметить другое: к этому времени у Александра уже сформировалось редкое сочетание качеств — зависимый опыт, знакомство с психофармакологией среды, жизнь среди людей с тяжелыми психическими и поведенческими отклонениями, опыт работы в больнице, эмоциональная нестабильность, умение существовать в двойных регистрах и нарастающая потребность в управлении собственной версией реальности. Даже если смотреть на все это только биографически, без каких-либо крайних выводов, видно: он подошел к порогу, за которым человек либо пересобирается, либо окончательно закрепляется в деструктивной множественности. Порог разрушения — это не момент одного решающего события. Это стадия, когда уже слишком многое повреждено, но еще недостаточно осмыслено. Когда внешняя биография усеяна инцидентами, но внутренний рассказ о себе все еще пытается удержать целостность. Когда факты угрожают всплыть, но человек уже научился работать с ними как с материалом. Когда выгорание доходит до той точки, где прежняя роль больше не спасает, но правда о себе все еще невыносима.

В этот период Дворкин живет так, будто одновременно тонет и пишет сценарий собственного спасения. Возможно, именно поэтому столь многие эпизоды его жизни кажутся сдвоенными. Скандал — и тут же легенда о нем. Больница — и сразу моральное объяснение. Психиатрия — и стратегия. Бродяжничество — и романтическая дорога. Зависимость — и почти культурная антропология среды. Унижение — и героизация собственной непохожести. Срыв — и эстетизация глубины. Все это выглядит как богатая, сложная, необычная молодость. Но на самом деле за этим просматривается более жесткий сюжет: человек, который слишком долго жил на разрушении границ, оказался вынужден строить из обломков не жизнь, а версию жизни. И все же именно здесь, у самой кромки внутреннего распада, обычно и начинает рождаться следующий поворот. Не потому, что боль автоматически очищает. И не потому, что человек обязательно честно признает, до чего дошел. Иногда наоборот: новый этап начинается как еще более искусная форма переработки прошлого. Как новый язык, новая среда, новая миссия, новое оправдание, новый свет,

падающий на старые тени. Так будет и здесь. Потому что дальше начнется не просто другой период биографии. Дальше начнется переделка хаоса в призвание и чем больше в прошлом останется недосказанного, скрытого, невыносимого и умело перераспределенного по разным версиям себя, тем сильнее будет соблазн окончательно переплавить прошлое в судьбу. А это всегда опасный момент. Потому что человек, научившийся защищать свои секреты не молчанием, а красивой композицией, однажды может сам поверить, что рассказ о его жизни и есть вся правда о ней.

Глава 5. Суд над маской

Не всякий человек, прошедший через слом юности, строит себе маску. Многие ломаются открыто, многие медленно зарастают шрамами, многие остаются внутренне треснувшими, но узнаваемыми самими собой. Однако бывают люди иного склада: они не столько исцеляют прошлое, сколько переплавляют его в роль, а затем начинают жить внутри этой роли так долго и так последовательно, что она перестает казаться ролью даже им самим. Важно увидеть, как из московского мальчика с раненым самолюбием, из подростка, жадно ищущего знак исключительности, из юноши, погружающегося в хипповскую среду, алкоголь, таблетки, психиатрические обходные тропы, больницы, скитания и нервные срывы, возникает другая фигура Александра Дворкина — преподаватель, публицист, церковный полемист, антикультовый идеолог, эксперт, организатор сети, человек, говорящий от имени нормы и выносящий вердикт целым группам людей.

Это превращение не было простым. Но оно было последовательным. И, возможно, именно в этой последовательности — главный ключ.

Америка, в которую он попал в 1977 году, оказалась для него не только страной, но и целой мастерской. Он приехал туда не победителем и не человеком с ясным будущим. Скорее наоборот: с грузом внутренней неустроенности, с опытом зависимой и срывающейся молодости, с уже сложившейся привычкой жить между версиями себя, с нервной потребностью в свободе и почти такой же

сильной потребностью в оправдании собственной биографии. Позднее, вспоминая первые месяцы в Нью-Йорке в книге «Моя Америка» (2013), он будет описывать жару, дешевый отель, blackout, первые одиночные прогулки, ощущение чужого города, встречи с эмигрантами и разный человеческий потенциал, из которого складывалась новая жизнь. Эти страницы написаны живо, наблюдательно, иногда очень сильно. Но важно заметить: Америка в его воспоминаниях с самого начала дана как пространство не только адаптации, но и духовной перенастройки собственной легенды. Он привез с собой все: детскую чувствительность, подростковый нарциссический голод, конфликт с коллективным принуждением, опыт психической нестабильности, опыт полисубстантной среды, внутреннюю склонность к раздвоению между переживаемым и рассказываемым. И в Америке все это не исчезло.

Очень показательно, что в интервью Линн Виссон для проекта Recent Soviet Immigrants in America (июнь 1979 года) Дворкин еще говорит иначе, чем в поздних книгах. Там меньше окончательной композиции, меньше ретроспективного благолепия, меньше выстроенной духовной перспективы. Там слышен молодой эмигрант, который еще не успел затвердеть в поздней роли. Он рассказывает о психбольницах, милиции, хипповой среде, наркотиках, бродяжничестве, о том, что в СССР «был под кайфом все время», о том, как людей из этой среды помещали в психиатрические учреждения, о том, как сам пользовался психиатрической системой, чтобы не идти в армию. Это голос человека, еще не окончательно переписавшего собственное прошлое в миссию. Именно поэтому это интервью так важно. Оно позволяет увидеть за более поздней фигурой — уже почти сформированной — того, кто еще не завершил редактуру себя. Там еще заметны сырые швы. Там нарратив не до конца зачищен. Там присутствует не только память, но и остаточное дыхание среды, из которой он вышел.

Позднее — особенно в «Моей Америке» и в книге «Учителя и уроки. Воспоминания, рассказы, размышления» (2008) — прежняя хаотическая биография станет выглядеть иначе. Она не будет отрицаться. Это слишком заметное прошлое, чтобы его просто стереть. Но она будет переупакована. Хипповская молодость станет частью большого пути к Истине. Скитания — опытом свободы и познания мира. Нищета — ступенью закалки. Америка —

пространством духовного рождения. Встреченные люди — символическими фигурами провиденциального маршрута. Даже разрушительные эпизоды начнут занимать в повествовании ровно столько места, сколько нужно, чтобы оттенить будущий поворот вверх. Это очень тонкая работа.

Именно здесь начинается суд над маской. Потому что маска в данном случае — не просто фальшь. Это завершенная социальная форма, в которую вложено все лучшее, все убедительное, все читабельное, все, что позволяет удержать моральный центр биографии в приемлемом положении. Внутри такой маски человек может и сам верить, что говорит правду. И в каком-то смысле он действительно говорит правду — но правду, уже приведенную к порядку. Американский период дал Александру несколько ключевых вещей сразу. Прежде всего — время на переплавку личности. В Советском Союзе он был зажат между семьей, органами, психиатрическим учетом, уличной средой, учебным провалом и социальной бесприютностью. В Америке, как он сам не раз подчеркивал, появилась другая рамка: человек мог быть никем, но мог и собраться заново. Нью-Йорк не требовал происхождения, а требовал функции. Это была та самая среда, где акцент не так важен, где почти все откуда-то приехали, где можно долго не быть «своим», но и не быть окончательно чужим. Для человека, годами жившего в конфликте с жесткими системами идентификации, это было чрезвычайно важно. Затем — новый язык признания. В Москве признание приходило к нему через вызывающую инаковость, через риск, через уличную легенду, через фигуру непохожего. В Америке открывалась возможность получить признание иначе — через образование, через церковную среду, через интеллектуальную работу, через принадлежность к традиции, которая дает не только смысл, но и статус. Это принципиально меняло механику самооценки.

Наконец — религиозная вертикаль, которую нельзя рассматривать ни как простую случайность, ни как декоративный жест. К моменту эмиграции у него уже был тяжелый, внутренне конфликтный, детски-тревожный и юношески-агрессивный опыт соприкосновения с темой Бога, Церкви, сакрального и отрицания. Он слишком долго боролся с этим внутри, чтобы позднейшее воцерковление выглядело поверхностным. Напротив, именно потому, что тема была болезненной, она могла однажды стать структурообразующей. Именно в

Америке хаос его ранней жизни начинает перерабатываться в будущую публичную миссию. Здесь он учится. Он работает. Он попадает в церковно-интеллектуальные круги. Он пишет. Он наблюдает. Он осваивает пространство, где можно быть не просто бывшим советским хиппи с психиатрическим следом и полисубстантным прошлым, а человеком, который прошел тьму и теперь способен свидетельствовать о ней уже с позиции обретенного опыта. Вот здесь и появляется будущий антикультовый Дворкин.

Сначала не как громкая политическая фигура, а как человек, которому его собственная биография как будто дает особое удостоверение. Он знает зависимость среды, знает психологию поиска, знает притягательность ложных свобод, знает, как человек может попадать в системы влияния и зависимости. Он знаком с неформальными средами, с субкультурными ритуалами, с наркотизированным и идеологизированным сознанием, с бегством из одной идентичности в другую. Он пережил внутреннее расщепление и пришел к осознанию того, что значит, он может теперь не просто говорить о «сектах», а судить их с позиции того, кто знает механизм пленения изнутри. И это, возможно, было бы убедительно и даже полезно, если бы на этом уровне история остановилась. Но она не остановилась. Потому что далее происходит следующий поворот: личный опыт постепенно твердеет в грубую идеологию, а идеология требует расширения поля действия.

По мере возвращения в Россию в начале 1990-х, когда рухнул советский порядок и религиозное пространство стало стремительно заполняться новыми движениями, миссия, которую Дворкин мог воспринимать как личную, получает почти государственно-общественный масштаб. Он возвращается не как вчерашний маргинал, а как человек с американским церковным и академическим опытом, с уже оформленным другими «учителями» православным мировоззрением, с ощущением, что именно теперь начинается настоящее дело.

Россия 1990-х идеально подходила для такой роли. Старая идеологическая система рухнула. Новая не сложилась. Люди искали духовные ответы, нередко беспорядочно. На поверхность выходили самые разные религиозные движения, западные миссии, восточные практики, коммерческая эзотерика, психологические школы и так далее. Для части общества это было временем

свободы. Для другой части — временем страшной путаницы. Для человека вроде Дворкина — временем необходимости судьи. Так постепенно возникает его поздняя фигура, знакомая уже широкому кругу людей: антикультовый идеолог, преподаватель, автор работ по сектоведению.

Книга «Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования» становится не просто очередным его трудом, а фундаментальным текстом поздней роли. Сначала, в 1998 году, выходит более ранняя версия как учебное пособие. Затем, в 2000 году, появляется расширенное издание. В последующие годы эта книга многократно переиздается и становится для церковной и антикультовой среды своего рода каноном. На нее ссылаются священники, чиновники, общественные деятели, депутаты, активисты, преподаватели. Она начинает жить уже не как частный текст, а как дискурсивный инструмент. Потому что «Сектоведение» — это не просто книга о религиозных движениях. Это текст, в котором окончательно оформляется право автора классифицировать, клеймить, разграничивать, выносить смысловые приговоры и создавать иерархию допустимого и недопустимого в духовной жизни общества. Он становится судьей. Человек, некогда метавшийся между срывом, зависимостями, психиатрическими обходными маневрами и бродяжничеством, теперь пишет систематический труд, который становится для многих руководством по различению истины и лжи в религиозном пространстве. Эта метаморфоза сама по себе драматична.

Но еще важнее то, каким языком это сделано. Текст Александра Дворкина системно использует риторику демонизации, дегуманизации, отрицательной классификации, пропаганды религиозной исключительности и враждебного противопоставления «истинной» традиции всем остальным. В этом анализе приводятся примеры, как в книге описываются индуизм, кришнаизм, мормоны, Свидетели Иеговы и другие движения: через образы антихриста, демонизма, моральной неполноценности, человеческой деградации, угрозы обществу, а подчас и образов, которые должны вызывать отвращение или страх. Феномен очевиден: поздний Дворкин говорит о религиозных «других» не языком нейтрального историка религии, а языком нормативного разграничения, борьбы, уничтожения. Его текст построен не на любопытстве к чужому опыту, а на структуре опасности, страхе и призрании. Это очень многое объясняет.

Потому что антикультовая роль дала ему то, чего не дали ни юность, ни Америка сами по себе: институционализированное право на подозрение. Если раньше он жил в мире, где подозревали его, то теперь он сам мог становиться производителем подозрения. И не частным, а легитимированным — в церковном, общественном, а позднее и полугосударственном поле. Для личности с таким прошлым это почти идеальная позиция. С детства он существовал под взглядом других. С юности он превращал негативное внимание в доказательство своей исключительности. В зрелости он получает возможность самому определять, на кого должен быть направлен общественный страх. Это уже не просто маска. Это окончательная инверсия детской травмы.

Очень характерно, что вместе с укреплением этой роли начинается и укрепление сетевой власти. В источниках о позднем Дворкине многократно упоминается РАЦИРС — Российская ассоциация центров изучения религий и сект, а также сеть антикультовых структур, связанная с его именем. Его книги, лекции, конференции, экспертные участия, публичные комментарии, люди вокруг него, его ученики и союзники — все это создает не просто школу мысли, а инфраструктуру. И именно инфраструктура делает маску почти неуязвимой. Обычного автора можно оспаривать. Но когда вокруг автора вырастает сеть, его личный голос начинает звучать как система.

В этом смысле история с попыткой признать «Бхагавад-гиту как она есть» экстремистским материалом в Томске в 2011–2012 годах особенно показательна. Это был не просто абсурдный суд над книгой. Это был момент, когда антикультовая риторика, давно жившая в книгах, статьях, лекциях и церковных средах, попыталась окончательно перейти в юридическую плоскость запрета. Сам Дворкин не был формальным прокурором этого процесса, но его антикультовая школа, его союзники, его сеть, его дискурс, его люди в поле — все это присутствовало в истории слишком явно, чтобы говорить о простом совпадении.

В материалах об этом процессе названы Максим Степаненко, Александр Кузьмин, Александр Корелов, другие фигуры, связанные с антикультовой активностью. В ход шли предвзятые или спорные экспертные заключения, медийное давление, язык «опасности» и «экстремизма», попытка представить религиозный текст как угрозу обществу. Суд в итоге не поддержал эти

требования. Но сам факт процесса оказался симптоматичен: маска защитника общества от деструктивных культов к этому времени уже была способна инициировать символические репрессивные механизмы против целых традиций.

Что произошло на самом деле? Человек, получивший власть определять чужую опасность через собственное переработанное прошлое, очень легко перестает видеть границу между анализом и проекцией. Он может начать описывать других не такими, какие они есть, а такими, какими должны выглядеть в его внутренней схеме борьбы с ложью. В позднем Дворкине это ощущается постоянно. Он редко пишет и говорит, как человек, допускающий сложность другого. Чаще — как человек, уже вынесший структурный приговор. И, возможно, именно здесь маска становится наиболее плотной. Под маской борца с манипуляцией может скрываться не только искреннее желание предупредить людей об опасности, но и более древняя, более личная, почти детская потребность: быть тем, кто окончательно контролирует картину мира. Не быть больше потерянным мальчиком, не быть вытолкнутым подростком, не быть зависимым и хаотичным молодым человеком, а стать носителем высшего различения. Тем, кто называет зло. Тем, кто классифицирует. Тем, кто предупреждает государство. Тем, к кому идут за определением нормы. Особенно тревожно, что в предоставленных источниках поздняя деятельность Дворкина неоднократно связана с экспертными практиками, судебными процессами, антикультовыми заключениями, публичными обвинительными кампаниями и влиянием на восприятие целых групп людей.

Поздний Дворкин так часто производит впечатление человека, для которого мир снова разделился почти по-детски жестко: на истинное и ложное, чистое и опасное, спасительное и демоническое, своих и чужих, спасенных и ослепленных. Такая ясность всегда производит сильный эффект на аудиторию, уставшую от сложностей. Но психологически она часто оплачена очень дорого: отказом видеть неоднозначность, отказом сомневаться в собственном праве на оценку, отказом признать, что в самом центре собственной власти над смыслом может сохраняться не до конца изжитая личная тьма.

Архитектура подавления и институционализация подозрительности в российском духовно-политическом пространстве первой декады двадцать первого века представляет собой сложный процесс трансформации государственного сознания от хаотического плюрализма девяностых годов к жестко структурированной системе идеологического протекционизма. Период с двухтысячного по две тысячи двенадцатый годы следует интерпретировать как эпоху последовательного конструирования моральной паники, где аморфные опасения общества перед лицом новой религиозности были переплавлены в конкретные правовые и административные механизмы репрессий под эгидой защиты национальной идентичности и концепции духовной безопасности. Переход от ельцинского парада суверенитетов, затронувшего и область совести, к путинскому требованию консолидации ознаменовал собой конец эры миссионерского романтизма и начало эры государственного патернализма, в которой понятие свободы совести претерпело радикальную метаморфозу, превратившись из неотчуждаемого права личности в объект государственной опеки и селекции. Государство взяло на себя роль верховного арбитра в вопросах спасения души, последовательно отделяя так называемые традиционные верования от деструктивных культов, что привело к формированию уникальной антисектантской вертикали, ставшей одной из опор нового авторитарного консенсуса.

Центральной фигурой этой институциональной трансформации стал Александр Леонидович Дворкин, чья деятельность в рамках Центра информационно-консультационного имени священномученика Ириней Лионского в рассматриваемый период вышла далеко за пределы узкоцерковного просветительства и приобрела статус квазигосударственной экспертизы. Дворкин сумел предложить власти готовую интеллектуальную модель под названием сектоведение, которая, несмотря на полное отсутствие академического признания в мировом научном сообществе, идеально вписалась в логику укрепления государственной вертикали. Его концепция тоталитарной секты стала универсальным инструментом для понимания любой нежелательной религиозной активности, позволяя криминализировать убеждения без прямой апелляции к уголовному кодексу на ранних этапах. Основополагающий труд Дворкина под названием «Сектоведение. Тоталитарные секты» стал не просто учебником для семинарий, но и настольной

книгой для сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и чиновников региональных администраций. Данное издание, активно использовавшееся в программах повышения квалификации сотрудников милиции и ФСБ, внедрило в сознание госаппарата парадигму подозрительности, согласно которой любое религиозное меньшинство рассматривалось как потенциальная резидентура иностранных разведок или деструктивный психокульт, нацеленный на подрыв психического здоровья нации.

Как упоминалось ранее, создание Российской ассоциации центров изучения религий и сект в две тысячи шестом году ознаменовало переход к сетевой структуре влияния, координирующей деятельность десятков региональных отделений, которые фактически выполняли функции идеологических отделов при местных органах власти. Эта трансформация частной инициативы в государственную доктрину была окончательно закреплена на институциональном уровне в две тысячи девятом году, когда приказом Министерства юстиции Российской Федерации номер пятьдесят три был утвержден новый состав Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы. Возглавление этого совета Александром Дворкиным стало апогеем антисектантской вертикали, легитимизировав субъективные теологические суждения как обязательные для исполнения государственные директивы. В этот момент граница между академическим религиоведением и конфессиональной апологетикой была окончательно стерта, и Экспертный совет превратился в инструмент селективной фильтрации религиозного поля страны, где критерии традиционности определялись исключительно лояльностью к сложившемуся консенсусу между Кремлем и Патриархией. Это привело к ситуации, в которой государственная экспертиза стала абсолютно герметичной, не допускающей альтернативных точек зрения и основывающейся на мифологемах о тотальном контроле сознания и зомбировании. Региональная экспансия антисектантской идеологии в рассматриваемый период демонстрирует высокую степень готовности местных элит к внедрению репрессивных практик, зачастую опережающих федеральное законодательство.

Ярким примером подобной инициативы стал закон Белгородской области о миссионерской деятельности, принятый еще в две тысячи первом году,

который ввел жесткие ограничения на проповедь для представителей нетрадиционных конфессий, требуя специальной аккредитации и согласования с местными властями. Данный прецедент создал модель регионального духовного суверенитета, где православие де-факто получило статус государственной религии, а все остальные группы были поставлены в положение граждан второго сорта. Аналогичные процессы наблюдались и в других субъектах федерации, достигнув своего организационного завершения в Архангельской области, где в две тысячи одиннадцатом году была создана первая в стране межведомственная антисектантская комиссия. Эта структура объединила представителей администрации, силовых ведомств и епархиального управления для проведения систематических зачисток информационного и культурного пространства от влияния саентологов, свидетелей Иеговы и неопятидесятнических общин. Деятельность подобных комиссий сопровождалась массовыми семинарами для чиновников и учителей, на которых сектоведение Дворкина преподносилось как единственно верная научная дисциплина, обучающая распознаванию скрытых угроз в повседневной жизни.

Международная легитимация российских репрессивных практик обеспечивалась через тесное взаимодействие с Европейской федерацией центров по исследованию и информированию о сектантстве, известной под аббревиатурой FECRIS. Участие Александра Дворкина в руководстве этой организации, где он с две тысячи девятого по две тысячи двадцать первый год занимал пост вице-президента, служило важнейшим механизмом внешней валидации внутренней политики подавления. Для внутреннего потребителя антисектантская борьба подавалась как защита национальных интересов от западного влияния, в то время как на международных площадках она камуфлировалась под общеевропейское движение за права человека и защиту жертв манипулятивных культов. FECRIS предоставляла российским структурам не только методологическую базу, но и статусный щит, позволяя представлять преследование религиозных меньшинств не как нарушение свободы совести, а как борьбу с транснациональной преступностью и психологическим насилием. Это сопряжение локальных имперских амбиций с глобальным антикультовым дискурсом создало герметичную систему аргументации, в которой любая критика со стороны правозащитников интерпретировалась как защита

сектантских интересов западными спецслужбами, что окончательно изолировало российское правовое поле от влияния международных стандартов вероисповедной политики.

Медийное конструирование в этот период стало важнейшим инструментом формирования массовой психологической поддержки репрессивных мер, обеспечивая необходимый уровень моральной паники в обществе. Телевизионные каналы, прежде всего НТВ и Россия один, превратились в площадки для проведения масштабных информационных кампаний, где в прайм-тайм демонстрировались документальные фильмы-расследования, созданные по законам криминального триллера. В таких программах, как «Чистосердечное признание» или специальные репортажи Аркадия Мамонтова, верующие новых религиозных движений неизменно представляли как лишенные воли марионетки в руках циничных манипуляторов. Психолингвистический анализ дискурса того времени выявляет систематическое использование терминов-маркеров, обладающих мощным суггестивным потенциалом. Слово секта из нейтрального дескриптора превратилось в социальный приговор, вызывающий автоматическую реакцию отторжения и страха. Понятие зомбирование стало универсальным объяснением любого религиозного выбора, отличного от санкционированного государством, что фактически означало лишение верующих субъектности и гражданских прав.

Тактика дегуманизации верующих через медиaprостранство опиралась на глубокие архетипические образы чужака и оборотня, скрывающего под маской добродетели разрушительную сущность. В текстах таблоидных изданий, таких как Комсомольская правда или Аргументы и факты, сектантство подавалось как форма духовного СПИДа, где заражение происходит незаметно, а последствия всегда фатальны для личности и семьи. Использование псевдонаучной терминологии, включающей такие понятия как психотехники подавления и контроль сознания, создавало иллюзию объективности антисектантской риторики, скрывая под собой глубоко идеологизированный субстрат. Особенно показательны в этом смысле сюжеты о саентологах или Международном обществе сознания Кришны, где визуальный ряд неизменно включал кадры экстатических ритуалов и скрытых съемок, что в совокупности формировало у

зрителя ощущение непосредственной угрозы его психическому здоровью. Патологизация веры стала эффективным способом легитимации вмешательства психиатрии и правоохранительных органов в частную жизнь граждан, оправдывая нарушения конфиденциальности и личной неприкосновенности интересами общественного спасения. Эта стратегия привела к тому, что к концу первого десятилетия века в массовом сознании был стерт предел допустимого насилия в отношении так называемых сектантов, а сочувствие к ним было объявлено признаком слабости или сектантской обработки.

Критика деятельности РАЦИРС и Александра Дворкина со стороны профессионального религиоведческого сообщества в этот период, хотя и была последовательной, оставалась фактически гласом вопиющего в пустыне на фоне мощной государственной поддержки антисектантской вертикали. Такие видные ученые, как Игорь Кантеров и Екатерина Элбакян, неоднократно указывали на лженаучный характер сектоведения и опасность использования его оценочной терминологии в правовом поле. Игорь Кантеров, будучи заслуженным профессором МГУ, в своих работах аргументированно доказывал, что понятия тоталитарная секта и деструктивный культ являются идеологическими конструктами, не имеющими дескриптивной ценности для науки. Екатерина Элбакян акцентировала внимание на том, что антисектантская деятельность наносит непоправимый ущерб не только свободе совести, но и репутации самой Русской православной церкви, втягивая ее в сомнительные репрессивные практики. Однако академическое сообщество оказалось практически полностью исключено из процесса принятия решений, уступив место экспертам в штатском и церковным апологетам. Ученые, пытавшиеся сохранить объективность, подвергались публичной травле, обвинялись в продажности и работе на иностранные центры влияния, что привело к деградации самой дисциплины религиоведения в России, где на место поиска истины пришло служение интересам безопасности.

Судебный процесс над священным индуистским текстом «Бхагавад-гита как она есть» в Томске в 2011–2012 годах стал важнейшим симптомом апогея антисектантской вертикали и ее интеллектуального тупика. Попытка признать широко распространенный комментарий к классическому индуистскому тексту экстремистским материалом продемонстрировала полную готовность

региональных структур прокуратуры и, по утверждению участников процесса, органов ФСБ переводить антикультовую повестку в юридическую плоскость. Экспертизы, подготовленные сотрудниками Томского государственного университета, в которых утверждалось, что книга разжигает ненависть к неверным и унижает человеческое достоинство, выявили глубокую пропасть академических стандартов в угоду политической конъюнктуре. Александр Дворкин публично поддерживал данный запрет, называя книгу вольным переводом, искажающим суть индуизма, что вызвало беспрецедентный международный скандал и дипломатическое напряжение в отношениях с Индией. Несмотря на то, что под давлением мировой общественности и протестов академического сообщества суд в конечном итоге отказал в признании книги экстремистской, сам факт возбуждения такого дела показал, насколько глубоко концепция духовной безопасности укоренилась в государственном аппарате, превратив вопросы совести в зону перманентного чрезвычайного положения, где экспертное знание полностью подчинено воле следователя.

Параллельно с преследованием организованных религиозных групп, антисектантская вертикаль начала активно расширять сферу своего влияния на светские практики, такие как йога-центры и тренинги личностного роста, квалифицируя их как скрытые психокульты. В Нижневартовске и ряде других городов предпринимались попытки запрета занятий йогой в муниципальных учреждениях под предлогом их оккультного характера и вреда для психики молодежи. Особый резонанс вызвало письмо Александра Дворкина в адрес руководства ФСИН, в котором он утверждал, что практика йоги в следственных изоляторах может вызвать неконтролируемое сексуальное возбуждение и привести к бунтам среди заключенных. Эти курьезные на первый взгляд инициативы имели под собой серьезную базу по систематическому выдавливанию любой несанкционированной психологической и телесной активности из публичного пространства. Тренинги личностного роста изображались в СМИ как финансовые пирамиды, использующие методы гипноза для изъятия имущества граждан, что позволяло применять к ним весь арсенал антиэкстремистского законодательства. Таким образом, к две тысячи двенадцатому году антисектантская парадигма охватила все формы гражданской самоорганизации, не укладывающиеся в жесткий канон

традиционализма, превратив государство в верховного экзорциста, очищающего национальное тело от любых проявлений инаковости.

Институционализация недоверчивости привела к тому, что к началу второго десятилетия века российское общество оказалось в состоянии глубокой интеллектуальной и духовной изоляции. Понятие экстремизм начало стремительно дрейфовать в сторону мировоззренческих категорий, позволяя преследовать людей не за конкретные действия, а за приверженность определенным идеям и текстам. Антисектантские центры поставляли «жертв» и фактуру, телевидение создавало из этого медийные хорроры, а государственные органы на основании этих сюжетов принимали новые запретительные меры. Этот процесс разрушил доверие внутри общества, поощряя доноительство и бдительность как высшие гражданские добродетели. Свобода совести в России была официально признана источником опасности, а не ценностью, что предопределило траекторию развития страны на многие годы вперед. Зени антисектантской вертикали ознаменовал собой победу идеологического монизма над сложностью человеческого духа, превратив религиозную жизнь в объект бесконечных манипуляций, судебных преследований и административного надзора, где право на истину принадлежит исключительно государству и его уполномоченным экспертам, а страх стал главным инструментом управления душами.

Лингвистические конструкции, использовавшиеся в официальных документах Министерства юстиции и судебных решениях того периода, наглядно демонстрируют постепенное вытеснение правового языка языком идеологической борьбы. Определения вроде «деятельность, направленная на подрыв духовных устоев», или «создание угрозы психическому здоровью нации» — не имеют четкого юридического содержания, но обладают мощной суггестивной силой, что позволяет судам принимать решения, основываясь на предположениях о потенциальной вредоносности учения. Это означало переход от правосудия действия к правосудию мысли, где объектом наказания становилось само внутреннее убеждение человека. Антисектантская вертикаль стала главным стержнем этого нового правового пространства, в котором граница между законным и незаконным стала зыбкой и зависела от текущей конъюнктуры безопасности. Использование медицинской метафоры в

отношении верующих, таких слов как «зараза», «метастазы» и «гниение», подготовило почву для самых жестких административных решений, представляя репрессии как форму социальной гигиены, необходимую для выживания организма нации.

Взаимодействие силовых структур и антисектантских центров к две тысячи двенадцатому году достигло стадии полного взаимовыгодного сотрудничества, превратившись в гибридный репрессивный аппарат. Лекции Александра Дворкина в академиях МВД и ФСБ стали нормой, формируя у будущих офицеров специфический взгляд на религиозную ситуацию, где любое меньшинство подавалось как потенциальный мобилизационный ресурс для цветных революций и инструмент западного влияния. Борьба с сектами была окончательно интегрирована в общую систему противодействия терроризму, что позволило использовать против общин верующих весь арсенал спецслужб, включая прослушивание телефонов, внедрение агентуры и проведение обысков с привлечением спецназа. Финальный аккорд этой системы ознаменовался появлением целого класса силовиков, специализирующихся именно на религиозном экстремизме, чья карьера напрямую зависела от количества выявленных и разгромленных организаций, что создавало мощный стимул для фабрикации дел и искусственного нагнетания угрозы там, где ее не существовало (!).

Психолингвистический разбор тактик сектоведов выявляет также использование метода ложной дилеммы, когда духовная жизнь человека упрощалась до бинарной оппозиции: либо ты с нами в традиционной церкви, либо ты в секте и, следовательно, погиб для общества. Это упрощение стало эффективным способом управления массами, лишая их возможности видеть многообразие религиозного опыта и самостоятельно оценивать свои риски. Стратегия дегуманизации в этом смысле была направлена не только на сектантов, но и на все общество, которому фактически отказывалось в праве на сложность и самостоятельный выбор. Антисектантская вертикаль предлагала простую и понятную картину мира, где все зло сосредоточено в деструктивных культах, а все благо — в государственном контроле над душой. Эта примитивизация сознания стала залогом устойчивости системы, позволяя ей игнорировать любые вызовы со стороны реальности и подавлять любые искры

живого религиозного поиска как угрозу пожара, который необходимо немедленно потушить всей мощью государственного аппарата.

Таким образом, десятилетие с двухтысячного по две тысячи двенадцатый годы стало временем, когда российское государство не просто вернулось в сферу религии, но и радикально перестроило ее под свои нужды, создав пространство, в котором свобода совести была заменена безопасностью совести. Этот период стал финальной точкой в истории российского религиозного плюрализма и открыл новую страницу — эпоху тотального государственного надзора, где право на веру стало привилегией, даруемой властью за лояльность, а не врожденным правом человека. Системность этого процесса, его глубокая укорененность в административных практиках и массовой психологии сделали антисектантскую вертикаль одной из самых прочных опор режима, чье влияние продолжает определять границы возможного для миллионов людей, превращая вопрос совести в вопрос национальной безопасности и административного учета.

Современная пропаганда в XXI веке претерпела фундаментальную трансформацию, перестав быть просто набором лозунгов или средством политической агитации. В условиях информационного переизбытка она эволюционировала в комплексную технологию конструирования реальности, где целью является не убеждение индивида, а создание среды, в которой альтернативное мышление затрудняется или вытесняется. Социологически этот феномен можно определить как «онтологическую оккупацию» — состояние, при котором государство или доминирующая идеологическая группа полностью монополизируют право на определение смыслов, ценностей и даже базовых фактов повседневности. В следствие истина подменяется ложью, а критическое восприятие — аффективной лояльностью. Пропаганда сегодня не просто лжет, она выстраивает параллельную вселенную, где агрессия именуется защитой, а уничтожение инаковости — сохранением традиций. Именно эта подмена понятий становится фундаментом для оправдания тоталитарных практик, которые в своей глубинной сути стремятся к полному контролю над человеческим сознанием.

Деконструкция этого процесса наиболее ярко представлена в документальном кинематографе последних лет, ставшем формой гражданского

свидетельства. Фильм «Влияние» (The Impact, 2024) выступает как мощное аналитическое исследование того, как сакральное и религиозное цинично инструментализируются для нужд военной машины. Лента раскрывает деятельность антикультовых организаций, в частности РАЦИРС, показывая их как важнейшее звено в цепи оправдания внешней агрессии. В фильме наглядно демонстрируется, как маргинализация и демонизация определенных групп под ярлыком «сектантства» подготавливает общественное сознание к принятию насилия. Механизмы манипуляции, показанные в «Влиянии», строятся на создании образа «внутреннего врага», чье существование якобы угрожает духовному суверенитету нации. Религия здесь перестает быть пространством личного поиска Бога и превращается в политический ценз. Авторы фильма вскрывают технологию уничтожения демократических институтов и оправдания экспансии. Это психологическая война, где первым шагом является дегуманизация противника через лишение его права на признанную государством веру.

Параллельно с религиозной манипуляцией идет процесс глубокой милитаризации гражданского сознания, что находит свое отражение в фильме «Господин Никто против Путина» (Mr. Nobody Against Putin, 2025). Картина, основанная на уникальных материалах Павла Таланкина, снятых в обычной школе челябинского Карабаша, обнажает саму внутреннюю механику пропагандистской машины, работающей с наиболее уязвимым слоем общества — детьми. Таланкин, находясь внутри системы как школьный сотрудник и видеограф, фиксирует превращение образовательного пространства в казарму и вербовочный пункт. Школа, призванная развивать критическое мышление, в объективе его камеры предстает как конвейер по производству ненависти. Мы видим, как учителя, действующие в условиях идеологического давления, внушают детям культ силы и неизбежность войны. Визиты представителей вооруженных формирований, маршировки под военные гимны и лекции о «враждебном окружении» — это не просто воспитательные меры, а планомерная индоктринация, стирающая границу между гражданской жизнью и фронтовой необходимостью. Фильм показывает, что борьба за лояльность будущих поколений начинается задолго до поля боя — в том числе в школьных классах, где из детей вытесняются эмпатия и автономное суждение, а их место занимает модель лояльности, подчинения и мобилизационной готовности.

Объединяющим лейтмотивом этих картин является обнажение «сути пропаганды» как процесса планомерной дегуманизации. В обоих случаях мы видим один и тот же алгоритм: сначала объект лишается человеческих черт, объявляется «опасным культом» или «нацистским режимом», после чего любое насилие в его отношении начинает восприниматься как моральный долг. Создание параллельной реальности — это не только искажение фактов, но и замена эмоциональных реакций. Вместо ужаса от смерти пропаганда предлагает гордость за мощь оружия; вместо сочувствия к жертве — удовлетворение от «справедливого возмездия». Подавление критического мышления происходит через упрощение мира до «свой — чужой», где любая попытка анализа или сомнения клеймится как предательство. В этом смысле современные фильмы-расследования выполняют роль интеллектуального обезвреживания, возвращая зрителю способность видеть реальность за нагромождением сконструированных мифов.

Эти работы показывают, что правда обладает огромной разрушительной силой для тоталитарных конструкций, именно поэтому режим так стремится их запретить. Секретные съемки Павла Таланкина демонстрируют, что даже внутри самой жесткой системы сохраняется пространство для личного свидетельства. Когда «господин Никто» начинает говорить и фиксировать реальность, монополия пропаганды на истину рушится. Важность сохранения ясности ума и критической дистанции по отношению к навязываемым мифам невозможно переоценить. Пропаганда побеждает только тогда, когда человек соглашается принять навязанный ему язык. Сопротивление начинается с деконструкции слов: когда мы называем агрессию — агрессией, а манипуляцию — манипуляцией, мы возвращаем себе власть над собственной реальностью.

Александр Дворкин и ему подобные деятели строят «сети разума», стремясь запутать в них каждого, кто ищет истину, но эти сети рвутся при столкновении с фактами и исторической памятью. Не стоит забывать и то, что пропаганда, даже очень разветвленная, не всемогуща. Ее сила — в повторе, в давлении, в утомлении, в подмене. Но у нее есть слабое место: она не выдерживает честного сопоставления фактов, внимательного чтения и исторической памяти. Она боится людей, которые умеют не просто спорить, а видеть конструкцию. Видеть, как под видом защиты происходит

расчеловечивание и как под видом духовной борьбы выращивается политическая ненависть.

Проводя аргументированную идеологическую аналогию, невозможно игнорировать пугающее сходство современных процессов в России с практиками нацистской Германии. Концепция «врагов народа» и «неполноценных элементов», реализованная в Третьем рейхе, находит прямое отражение в современной риторике борьбы с «национал-предателями» и «иностранными агентами». Традиционные ценности, о которых постоянно твердит официальный дискурс, используются точно так же, как нацистская концепция «крови и почвы» — как мистическое оправдание для изоляционизма и экспансии.

Государственный культ силы, превозношение военного прошлого и сакрализация фигуры лидера создают атмосферу, в которой индивидуальное «я» полностью растворяется в коллективном «мы», направляемом волей государства. Эта «синхронизация» (*Gleichschaltung*) всех институтов общества — от детских садов до религиозных объединений — является классическим признаком тоталитарного режима, стремящегося к тотальному единообразию, где фигура Александра Дворкина занимает особое место, выступая в роли подлинного «исполнителя идеологической сегрегации». Анализ его биографии и деятельности позволяет увидеть в нем проводника нацистских методов антикультизма на российскую почву.

Дворкин, обладая американским гражданством и специфическим психиатрическим прошлым, сумел продать государству технологию ненависти под видом «патриотического сектоведения». Его концепция «тоталитарной секты» — это не научный термин, а идеологическое оружие, заимствованное из нацистского наследия Вальтера Кюннета и его «Апологетического центра». Кюннет в свое время использовал ярлык «секта» для дегуманизации иудаизма и других «чуждых» элементов, и Дворкин последовательно внедрил эту модель в российские силовые структуры. Связь Дворкина с ФСБ, МВД и прокуратурой превратила его субъективные, часто научно необоснованные суждения в основу для государственных репрессий. Лекции, которые он читает силовикам, внушают им идею о том, что любая независимая община — это спящая ячейка врага, а любой инакомыслящий — жертва «промывания мозгов».

Дворкин выстроил систему, в которой РАЦИРС функционирует как своего рода инквизиционный орган, подготавливающий экспертные записки для ликвидации неудобных религиозных объединений. Это и есть современное воплощение «идеологической гигиены», где право на существование имеет только то, что санкционировано государственным экспертом. Его деятельность способствовала разрушению национального единства, превратив религиозную карту страны в поле перманентного конфликта и подозрительности. Он стал тем мостом, через который методы дегуманизации, разработанные в тоталитарных режимах прошлого века, обрели новую жизнь в цифровой и информационной реальности XXI столетия. Опасность деятельности подобных фигур заключается в том, что они создают интеллектуальное алиби для насилия. Когда Дворкин называет «сектантом» человека, чей единственный грех — желание верить вне рамок государственной корпорации, он открывает дверь для административного и уголовного преследования. Это сегрегация сознания, разделяющая граждан на «полноценных» сторонников официальной доктрины и «пораженных в правах» адептов иных верований.

Таким образом, антикультизм в его исполнении становится инструментом государственного террора против свободы совести. Влияние его идей на государственную политику в отношении «иных» привело к тому, что Россия стала страной, где молитва может быть приравнена к экстремизму, а философское размышление — к угрозе национальной безопасности. Интеллектуальное сопротивление такой пропаганде становится сегодня не просто академической задачей, а вопросом выживания человеческого в человеке.

Уроки нацизма должны были научить человечество тому, что любая идеология, основанная на дегуманизации «другого», неизбежно ведет к катастрофе. Сегодняшняя Россия проходит через тяжелое испытание диктаторским рецидивом, и роль интеллектуалов, кинематографистов и исследователей заключается в том, чтобы фиксировать этот процесс, разоблачать его создателей и сохранять зерна подлинной реальности для будущих поколений. Свобода мысли — это последний рубеж обороны, который пропаганда не может взять без добровольной сдачи самого человека. Поэтому интеллектуальная гигиена, анализ источников и смелость говорить правду

являются единственными эффективными методами противодействия глобальной индустрии обмана.

Глава 6. После маски

Есть люди, которых история использует в качестве маркеров — если такое сравнение уместно для человеческого. Они не обязательно самые умные, не обязательно самые сильные, не обязательно даже самые влиятельные в формальном смысле. Такие фигуры не просто участвуют в эпохе. Они становятся ее неразрывными узлами. Через них эпоха формулирует свои скрытые желания и свои самые опасные соблазны. В этом смысле Александр Дворкин интересен не только как частная биография, а как переходная фигура между внутренней личной деформацией и внешней системой организованного подавления.

Есть люди, которых недостаточно просто разоблачить. Недостаточно перечислить их ошибки, поймать на подтасовках, показать противоречия в их словах и делах. Потому что проблема не в частной неискренности. Проблема в другом: такие люди умеют превращать собственную внутреннюю поломку в общественную норму. Они не просто живут с искажением — они начинают на нем строить свою пирамиду. И в какой-то момент уже не очень важно, что именно было в начале: травма, обида, зависимость, стыд, мания величия, страх. Важно то, что все это однажды перестает быть личной драмой и становится оружием для окружающих.

Если первые главы этой книги были движением внутрь — к детству, юности, надлому, химическому распаду, к маске и к тому, как человек собирает из осколков новую роль, — то теперь нужно выйти изнутри наружу. Посмотреть не только на самого Дворкина, но и на след, который он оставляет вокруг себя. Потому что именно в этом следе и содержится окончательный ответ на вопрос, зачем нужна была вся эта книга.

Есть фигуры, чья опасность не в том, что они убивают собственными руками. Их опасность в том, что они объясняют, почему убивать можно. Не в

буквальном, примитивном смысле, а на уровне атмосферы. Они готовят почву. Они учат общество правильно ненавидеть. Они придумывают язык, в котором репрессия выглядит заботой, преследование — защитой, сегрегация — гигиеной, а клевета — просвещением. Если обычный палач работает инструментом, то такие люди работают предварительным оправданием. И порой именно они страшнее прямых исполнителей. Потому что без них исполнители долго не продержались бы. Общество должно быть подготовлено. У него нужно отнять способность узнавать зло в тот момент, когда оно еще не названо злом. И вот здесь начинается настоящая зона Дворкина.

На первый взгляд, может показаться, что антикультизм — тема узкая, почти специальная. Что это нечто на стыке религиозной полемики, церковной публицистики и маргинальной общественной борьбы. Но это ложное впечатление. На деле антикультизм в его российском исполнении оказался чем-то гораздо большим. Он стал лицом современного подавления. Именно здесь отработывались методы, которые потом легко переносились и на другие группы. Сегодня это религиозное меньшинство, завтра — гражданская инициатива, послезавтра — правозащитники, потом “иностранцы агенты”, потом “предатели”, потом уже целые народы. Механика везде одна: сначала обозначить, потом изолировать, потом расчеловечить, потом представить насилие как санитарную меру.

Самое страшное здесь не агрессия сама по себе. Агрессия заметна. Гораздо страшнее упакованная агрессия — агрессия, которая пришла в костюме ученого, преподавателя, консультанта, церковного миссионера, эксперта по деструктивным культам. Когда человек с пеной у рта ненавидит — это видно. Но когда он холодно и убедительно объясняет, что объект его ненависти опасен, патогенен, деструктивен, разрушает семьи, психику, государство, культуру и будущее нации, — тогда его слова начинают жить самостоятельной жизнью. Их подхватывают газеты, телеканалы, чиновники, следователи, родители, учителя, участковые, судьи. И вот в этот момент частная ненависть перестает быть частной. Дворкин в этом смысле оказался чрезвычайно современным человеком. Не в хорошем смысле слова, а в самом мрачном. Он почувствовал главное свойство эпохи: в современном мире недостаточно просто обвинять. Нужно оформлять обвинение как знание. Нужно, чтобы предвзятость была

похожа на исследование. Чтобы истерика выглядела как аналитика. Чтобы стигма напоминала диагноз. Чтобы внутреннее отвращение было подано как общественная ответственность. Это и есть его настоящее мастерство. Не “сектоведение” как содержание, а форма подачи вражды как экспертности.

В этом месте особенно важно не спутать жесткость анализа с усложнением языка. Все, что происходит, на самом деле очень просто. Есть человек или группа людей, которых нужно сделать опасными в глазах остальных. Но эти люди часто не совершают никаких преступлений. Они просто верят иначе, живут иначе, собираются вместе, читают не те книги, молятся не так, как велено сверху, или вообще пытаются существовать вне чужой монополии на истину. Тогда начинается работа по конструированию угрозы. Берутся отдельные случаи, слухи, домыслы, старые стереотипы, страшные слова, иногда откровенная ложь, иногда полуправда, и из этого собирается образ. Дальше образ насыщается эмоцией. Людям объясняют: перед вами не просто странные люди. Перед вами нечто опасное. Они не заблуждаются — они заражают. Они не верят — они вербуют. Они не молятся — они контролируют сознание. Они не объединяются — они создают сеть. Они не спорят — они уничтожают личность. И в какой-то момент у общества уже не остается ни любопытства, ни сострадания. Только защитная безразличность.

Именно так работает дегуманизация до первого удара. Никого еще не посадили, никого еще не разогнали, никому еще не вынесли приговор. Но главное уже сделано: человек лишен нормального человеческого контекста. Он больше не сосед, не гражданин, не верующий, не читатель, не семьянин. Он — “сектант”. А это слово в данной системе означает уже не описание, а почти приговор. Это слово не открывает разговор, а закрывает его. После него можно не слушать, не проверять, не вникать. И вот здесь возникает новая и очень важная линия, которой еще не было в книге в достаточной степени. Дворкин интересен не только как производитель ярлыков, но и как человек, который прекрасно понял одну простую вещь: в современном обществе решает не столько сила, сколько режим интерпретации. Кто первым назвал явление — тот во многом им и управляет. Кто задал словарь — тот задал границы допустимого. Именно поэтому он так настойчиво борется не просто с организациями, а с правом этих организаций называться самими собой. Он стремится перехватить

их самоописание. Они говорят: мы религиозное движение. Он отвечает: нет, вы тоталитарная секта. Они говорят: это наша священная книга. Он отвечает: нет, это экстремистский материал. Они говорят: это право совести. Он отвечает: нет, это манипуляция и угроза.

Это очень сильный инструмент. Не потому, что он интеллектуально глубок, а потому, что он разрушает саму возможность равного разговора. Если другой заранее объявлен несубъектным — зомбированным, завербованным, пораженным, — тогда его уже не надо убеждать. В этом и заключается главный яд такого мышления: оно отменяет субъективность другого человека. А там, где отменяется субъектность, очень быстро разрушается и право. Вот почему все разговоры о “борьбе с сектами” в российском контексте никогда не были только про религию. Это была тренировка общества на способность принимать мысль о том, что права можно давать не всем. Что свобода совести — не право, а условная привилегия. Что государство или близкие к нему эксперты могут определять, какая вера нормальна, а какая — подозрительна.

Когда мы смотрим на это в исторической перспективе, становится особенно не по себе. Потому что такие процессы всегда начинаются одинаково. Никто не выходит сразу с лозунгом: давайте лишим часть людей человеческого статуса. Нет. Сначала появляется язык защиты. Защиты культуры, детей, традиции, народа, нравственности, цивилизации. Потом внутри этого языка обозначаются опасные носители отклонения. Потом создается моральная паника, а затем возникают специалисты, способные объяснить, почему именно эти носители особенно страшны. Далее подключаются администрация, медиа, образовательные площадки, правоохранители. И в какой-то момент вопрос уже не стоит, виноваты они или нет. Вопрос стоит, как именно мы будем от них защищаться.

Так шаг за шагом рождается общество, в котором подозрение становится гражданской добродетелью. И это еще одна новая важная тема. Дворкинский тип влияния действует не только сверху вниз, через государство. Он еще и заражает обывательскую мораль. Люди начинают чувствовать себя хорошими не тогда, когда они проявляют справедливость, а тогда, когда проявляют бдительность. Не тогда, когда они проверяют факт, а тогда, когда вовремя распознали «опасное». Не тогда, когда защищают слабого, а тогда, когда

помогают вычислить «чужого». Именно так создается среда, в которой доношительность маскируется под ответственность, страх — под зрелость, а жестокость — под заботу о порядке.

В такой среде очень быстро меняется и роль интеллигенции. Одни отстраняются. Другие приспособливаются. Третьи начинают обслуживать созданную «машину». Но есть и еще одна группа — самая опасная. Это люди, которые получают от системы не просто статус, а чувство долгожданной внутренней правоты. Для них власть не только полезна, но и терапевтична. Она наконец подтверждает, что мир действительно делится так, как им всегда хотелось: на избранных и недостойных.

Мне кажется, именно в этом месте надо очень ясно проговорить: дело не только в том, что Дворкин повлиял на государство. Дело еще и в том, что государство дало ему то, чего он, возможно, искал всю жизнь, — право быть окончательным классификатором других людей. В детстве его оценивали. В юности он рвался к роли особенного. В зрелости он получил возможность самому выносить ярлыки. Не просто участвовать в споре, а определять саму структуру спора. Не защищаться, а нападать первым. Не оправдываться, а заставлять оправдываться других. Не бояться быть исключенным, а исключать самому. И если посмотреть на это так, то многое становится почти болезненно прозрачным.

Особую тревогу вызывает и то, что эта модель прекрасно сочетается с новыми медийными технологиями. В XX веке пропаганда в значительной мере работала через повтор и монополию. В XXI — через сеть, через многократное воспроизведение в разных форматах. Один и тот же посыл может идти через лекции, статьи, экспертные заключения, школьные семинары, комментарии «специалистов», телесюжеты, церковные выступления, блоги, псевдоаналитические тексты, региональные круглые столы, сайты-помойки, анонимные публикации, правозащитные подмены, конференции и «исследовательские центры». И человек, попадающий в эту среду, уже не видит источник. Он видит совпадение многих голосов и принимает его за объективность. Это одна из самых коварных вещей: современная ложь редко действует как одна большая ложь. Она действует как множество согласованных полуправд. Именно в такой среде такие фигуры, как Дворкин, чувствуют себя

особенно уверенно. Они не обязаны быть всюду лично. Им достаточно создать запустить язык. Научить сторонников правильной интонации. Дать набор страшных слов. Назначить моральные приоритеты. После этого сеть начинает производить эффект почти самостоятельно. Но именно здесь и скрывается слабость. Она очень зависит от непроверяемости. От того, что никто не будет вчитываться, сравнивать, сопоставлять. Она держится на лени восприятия, на усталости людей от сложности, на желании получить быстрый ответ. Как только начинается внимательное чтение, как только человек перестает пугаться заранее и начинает смотреть, как именно построено обвинение, многое рассыпается.

Оказывается, что за якобы научной терминологией скрывается примитивная подмена, а за лозунгами о нравственности — очень часто глубокое неуважение к человеческой свободе. Вот почему так важны независимые исследования, документальные фильмы, архивные находки, частные свидетельства, пересборка публичной памяти. Они разрушают не только отдельные мифы, но и саму монополию на интерпретацию. Когда всплывает старое интервью, когда обнаруживаются реальные биографические документы, когда сравниваются ранние и поздние версии одной и той же жизни, когда становятся видны повторяющиеся схемы, пропаганда теряет свою магию. Она перестает быть тотальной. В ней появляются трещины. И это особенно важно в случаях, где речь идет не просто о человеке, а о целом стиле институционального насилия.

Нужно сказать и еще об одной вещи, почти всегда ускользающей от первого взгляда. Люди вроде Дворкина опасны не только тем, что они делают, но и тем, чему они учат окружающих, даже когда не ставят это как прямую цель. Они учат наслаждаться моральным превосходством над беззащитным. Учат путать сложность с опасностью. Учат считать унижение другого частью просветительской работы. Учат тому, что жесткость — это зрелость, а сомнение — слабость. Учат жить в мире, где другому человеку сначала надо доказать, что он не монстр. То есть они производят не просто решения, а антропологию. И если такая культура поведения закрепляется, она начинает работать уже и без них. Получается, что в какой момент общество соглашается на то, чтобы его моральный словарь начали писать люди, неспособные к подлинному уважению другого? В какой момент эксперт, отказывающий в субъектности другим,

становится удобнее, чем ученый, признающий сложность мира? Уставшее общество предпочитает ярлык анализу?

Всякий тоталитарный рецидив питается именно усталостью. Но цена за этого всегда одна и та же: утрата человечности. Людям тяжело жить в мире, где много разных правд, голосов, традиций, путей, взглядов. Хочется, чтобы кто-то сказал: вот это настоящее, а это подделка; вот это добро, а это зло; вот это наше, а это опасное; вот этим можно верить, а от тех надо защищаться.

В этой точке и появляется особый спрос на таких людей, как Дворкин. Они предлагают крайне удобную услугу: освобождают государственные органы от необходимости разбираться. В этом отношении особенно показателен путь, которым в российской действительности проходило слово “секта”. Изначально в научном и историко-религиоведческом употреблении оно имело определенную описательную нагрузку, пусть и ограниченную. Но в позднесоветском и особенно постсоветском антикультовом дискурсе это слово стало выполнять совсем иную функцию. Оно перестало обозначать и начало клеймить. Называние стало формой исключения. Не анализ традиции, не разбор практик, не проверка фактов, а акт символического уничтожения. Это не случайный риторический сдвиг, а фундаментальный политико-психологический механизм. То, что в этой сфере возникала целая сеть фигур по всему миру с очень разным уровнем образования, с самопровозглашенной экспертностью, с прямой или косвенной связью с церковно-антикультовыми центрами, крайне настораживающе. Мы имеем дело не с отдельными ошибками. Мы имеем дело с инфраструктурой фабрикации авторитетности. Когда директор маленькой организации, человек без профильной глубины, активист, бывший пропагандист или просто идеологически заряженный сотрудник начинает выдавать заключения, влияющие на судьбы людей, а государственные органы принимают это всерьез, общество переходит опасную черту. Оно признает, что судьба человека может решаться не знанием, а принадлежностью к правильной цепочке влияния.

Пропаганда уже редко действует только прямым лозунгом. Гораздо чаще она создает тотальную интерпретационную среду, внутри которой человек сам начинает мыслить навязанными категориями. Он не просто слышит, что есть враг. Он начинает видеть врага повсюду. В этом смысле антикультовая риторика

оказалась идеальной школой для более широкой государственной пропаганды. Она научила людей тому, что опасность не обязана быть доказана; достаточно просто указать пальцем на «другого». Так рождается общество, в котором подозрение становится добродетелью, а сомнение в официальной картине — слабостью или изменой. Такая пропаганда последовательно работает с самыми уязвимыми зонами человеческой психики: страхом за детей или семью, страхом перед хаосом, страхом перед социальной неопределенностью или «утратой корней», страхом перед чуждым будущим.

Отдельного внимания заслуживает то, как в этой системе переплетаются религия, безопасность и психология. Когда силовым структурам объясняют, что иная вера — это форма скрытой враждебной обработки, а независимая община — это потенциальная агентурная среда, речь уже не идет о религиозных спорах. Речь идет о переходе в режим контроля, где государство претендует решать, какая форма духовной жизни допустима, а какая равносильна преступлению. Так возникает новый тип идеологической власти — не массово харизматической, как в классических тоталитаризмах, а экспертно-административной. Она не всегда требует уличного экстаза. Ей достаточно, чтобы чиновник подписал бумагу, эксперт выдал заключение, редактор выпустил сюжет, учитель повторил формулу, а судья закрепил результат. Власть рассеивается по институтам, но остается единой по логике. И именно эта логика делает частную фигуру вроде Дворкина исторически важной: она показывает, как личный раскол может стать частью государственной системы.

Александр Дворкин сегодня — это не фигура прошлого и не случайный персонаж из архивной истории. Он остается одним из самых заметных и влиятельных антикультистов мира. Именно поэтому его образ особенно важен для понимания того, как работает современный антикультизм как явление. Если после прочтения этой книги читатель не только узнает больше о Дворкине, но и начнет лучше видеть людей, которые прячут жажду контроля за языком нравственности, экспертности и общественного блага, значит, ее задача выполнена. Если психолог увидит здесь сложный и поучительный случай компенсации и деформации личности, если исследователь найдет материал для анализа пропагандистских механизмов, а обычный читатель начнет точнее

различать маску и лицо, слово и манипуляцию, факт и внушение, — значит, книга написана не зря. Потому что в конечном счете вопрос всегда шире одной биографии. Речь идет о способности общества распознавать тех, кто хочет управлять не только поведением людей, но и их правом на собственную реальность.

Есть опасная точка, после которой общество уже не спорит о фактах, а только распределяет симпатии. Оно начинает реагировать не на доказательство, а на правильный тон, на привычные интонации, на эмоционально знакомые формулы. В этот момент чужая репутация становится уязвимой. Достаточно назвать человека или группу в нужных выражениях, и большая часть работы уже сделана. Дальше общественное воображение начинает достраивать картину само. Именно поэтому язык или слово никогда не бывает второстепенным. Через него не просто описывают реальность — через него решают. Если человека долго называют опасным, странным, деструктивным, чуждым, рано или поздно его перестают воспринимать как полноценного участника общего мира.

История знает много таких моментов. У каждой эпохи был собственный словарь для оправдания жестокости. Менялись декорации, лозунги, менялись официальные причины, но сама логика оставалась прежней. Отсюда важный вывод: под пропаганду чаще попадает не тот, кто ничего не знает, а тот, кто перестал задавать себе лишние вопросы или тот, кто согласился обменять внутреннюю честность на психологический комфорт. Поэтому критическое мышление не имеет ничего общего с холодным скепсисом или желанием все отрицать. Это навык внутренней трезвости. Он начинается с нескольких простых действий: остановиться, не принимать первую интерпретацию за истину, проверить источник, увидеть, где заканчивается факт и начинается навязывание нужной эмоции. Иногда этого уже достаточно, чтобы не стать проводником чужой вражды.

Есть и другая важная вещь — небезразличие к фактам. Оно требует больше сил, чем кажется. Человеку проще выбрать версию, которая совпадает с его страхом, обидой или окружением. Гораздо труднее признать, что удобное объяснение может быть ложным, а непопулярная позиция — честной. Но без этого усилия невозможно сохранить ни уважение к другому человеку, ни уважение к самому себе. Демократия живет не только в законах и институтах.

Она живет в повседневной привычке не подменять доказательство ярлыком. В готовности слышать. В способности не отдавать право на моральный приговор тем, кто действует через страх. В нежелании превращать чужое отличие в повод для общественной травли.

Эта книга писалась не ради шума. Ее смысл был в попытке внимательно посмотреть на факты, которые слишком часто прячутся под словами о порядке, защите и нравственности. Такие механизмы опасны именно тем, что долго выглядят разумными. Пока человек не позволяет страху говорить за себя, у него остается достоинство. Правда не всегда дает утешение. Но без нее очень быстро исчезает пространство, в котором человек еще может оставаться человеком.

Источники

1. Alexander-dvorkin.ru. РАЦИРС. <http://alexander-dvorkin.ru/racirs/>
2. Alexander Dvorkin Archive. (2026, January 20). Alexander Dvorkin interview June 19 1979 1 [Text]. Internet Archive. <https://archive.org/details/alexander-dvorkin-interview-june-19-1979/page/n1/mode/1up>
3. Best, M., Williams, J. M., & Coccaro, E. F. (2002). Evidence for a dysfunctional prefrontal circuit in patients with an impulsive aggressive disorder. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 99(12), 8448–8453. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC123087/>
4. Berzano, L., Falikov, B., Fautré, W., Filipovich, L., Introvigne, M., & Rigal-Cellard, B. (2022). Sympathy for the Devil: The Anti-Cult Federation FECRIS and its support for Russian and Chinese repression of religion. *The Journal of CESNUR*, 6(3), 25–67. https://cesnur.net/wp-content/uploads/2022/05/tjoc_6_3_2_whitepaper.pdf
5. Beyer, T. Writers of the Third Wave. In *Russians in America: The Third Wave*. Middlebury College. <https://community.middlebury.edu/~beyer/ratw/writers.htm>
6. CESNUR. (2017). The role of FECRIS and anti-cult organizations in Russia. https://www.cesnur.org/2017/duval_eng.pdf
7. Douglas, J. E., Burgess, A. W., Burgess, A. G., & Ressler, R. K. (Eds.). (1992). *Crime classification manual: A standard system for investigating and classifying violent crimes*. Lexington Books.
8. Exposing Anti-Cultism. (2026, February 16). Year 1979, USA. Dvorkin gives an interview. <https://actfiles.org/year-1979-usa-dvorkin-gives-an-interview/>
9. FECRIS. (2015, May 30). Alexander L. DVORKIN. <https://www.fecris.org/uncategorized/alexander-l-dvorkin/>
10. FECRIS. (2015, May 22). Dvorkin EN. <https://www.fecris.org/uncategorized/dvorkin-en/>
11. Freedom of Belief. (2025, April 14). FECRIS-Dvorkin non-consensual divorce. <https://freedomofbelief.net/articles/non-consensual-divorce-fecris-dvorkin>
12. García-Baamonde, M. E., Trujillo-Mendoza, H. M., Morales-Rodríguez, F. M., & García-Rodríguez, I. (2022). Youth serial killers: Psychological and criminological profiles. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10), Article 6066. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9105323/>

13. Lewis, D. O., Moy, E., Jackson, L. D., Aaronson, R., Restifo, N., Serra, S., & Simos, A. (1985). Biopsychosocial characteristics of children who later murder: A prospective study. *American Journal of Psychiatry*, 142(10), 1161–1167.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2072934/>
14. Meloy, J. R. (2000). The nature and dynamics of sexual homicide: An integrative review. *Aggression and Violent Behavior*, 5(1), 1–22. chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/https://drreidmeloy.com/wp-content/uploads/2015/12/2000_TheNatureAndDyn.pdf
15. Rovner, A. B. (1980). Калалацы. Kovcheg
16. Scientology Religion. (2018, February 10). Newsweek: Alexander Dvorkin accused of harassing Hindu guru.
<https://www.scientologyreligion.org/blog/newsweek-alexander-dvorkin-accused-of-harassing-hindu-guru.html>
17. Sectology professor or serial killer? Psychological portrait of Alexander Dvorkin - a man who poses a particular threat to society. (2026, March 22). ActFiles.
<https://actfiles.org/wp-content/uploads/2026/03/Profiling%20Report.pdf>
18. Siever, L. J. (2008). Neurobiology of aggression and violence. *American Journal of Psychiatry*, 165(4), 429–442.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4176893/>
19. Yang, Y., & Raine, A. (2009). Prefrontal structural and functional brain imaging findings in antisocial, violent, and psychopathic individuals: A meta-analysis. *Psychiatry Research: Neuroimaging*, 174(2), 81–88.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2784035/>
20. Дворкин, А. Л. (2013). Моя Америка. Христианская библиотека.
21. Информационно-консультационный центр Св. Иринея Лионского. Главная. <https://iriney.ru/>
22. Леваненков, С. (2012, 21 марта). Томский суд вновь отказал прокуратуре в запрете “Бхагавад-гиты”. РАПСИ
https://rapsinews.ru/judicial_news/20120321/262258691.html
23. Радонеж. Александр Дворкин. Персональные сведения. Публикации Радиоэфир <https://radonezh.ru/authors/dvorkin>
24. РИА Новости. (2012, 21 февраля). Религиоведы считают обоснованными претензии к “Бхагавад-гите”. <https://ria.ru/20120221/571072257.html>

25. Сова исследовательский центр. (2012, 21 февраля). Александр Дворкин продолжает настаивать на том, что “Бхагавад-гита” оскорбляет религиозные чувства. <https://www.sova-center.ru/religion/news/harassment/theoretical-struggle/2012/02/d23716/>
26. Струкова, Е. Н., & Беленкин, Б. И. (Сост.). (2015). *Acta samizdatica / Записки о самиздате: Альманах: Вып. 2(3)*. Государственная публичная историческая библиотека России; Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал». chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://imwerden.de/pdf/acta_samizdatica_zapiski_o_samizdate_vyp2_2015__ocr.pdf